

Мережковский Д. Паскаль.

I. ПАСКАЛЬ И МЫ. ПАСКАЛЬ И РЕФОРМА

«Если вам кажется верным и сильным то, что я вам говорю, то знайте, что это говорит человек, который, став на колени, молился и будет молиться за Безграничное Существо, Которому он отдаст все, что сам имеет, а также все, что и вы имеете, для вашей же собственной пользы и для Его Славы», [1] – говорит Паскаль читателям своим, и, чтобы понять его как следует, это надо помнить: слово его – молитва за тех, кто читает его, кем бы они ни были – умными или безбожниками; [2] за тех, которые не только читают его глазами, но и принимают его сердцем; за тех особенно, которые следуют за его словами: «Посмотрите, как они стонут» [3]

Люди наших дней начали понимать, чем для них может сделаться Паскаль, только во время Великой Войны. «Там, в огне и крови окопов, „Мысли“ Паскаля были как бы нашим предсмертным Причастием», – вспоминает один из его читателей, и другой: «Некогда мы видели вблизи жизнь, вдалеке – смерть, и еще дальше – вечность... Мы теперь на той же высоте, на какой был и ты, наш великий друг, Паскаль». «Ты нас опередил и встретил нас именно там, где ты был нам нужнее всего». [4] Кажется, вернее было бы сказать: мы не «на той же высоте», как Паскаль, а над той же бездною.

Быть или не быть христианству? – на этот вопрос никто, за триста лет от дней Паскаля до наших, не ответил так, как он отвечает: «Быть». К будущей вселенской Церкви – необходимому условию для того, чтобы христианство было, никто не приблизил нас так, как приближает он. Если люди наших дней, на пороге второй Великой Войны, все еще не могут понять так хорошо сказанных слов Паскаля, то они, может быть, их никогда и не поймут: быть или не быть христианству? – значит быть или не быть человечеству, заслуживающему это имя.

Чтобы понять как следует, чем мог бы сделаться Паскаль для нашего времени, надо знать, чем он был для своего. В XVII веке во Франции борются, как два течения в водовороте, две религиозные силы – внешняя, от Лютера и Кальвина, против католической Церкви идущая Реформа, и внутренняя, в самой Церкви происходящая Антиреформа. [5]

2

Янсений и Сен-Сиран

В 1611 году, в Париже, в Латинском квартале, встретились и больше чем подружились, – сроднились, как роднятся люди в одной великой цели, два молодых богослова – фландрец Корнелий Янсений (Cornelius Jansenius) и француз Жан дю Верже (Jean Duvergier). Падшее христианство восстановить – такова была их цель, а средства те же, что у Лютера и Кальвина, – вернуться к христианству первых веков, но не уходя из католической Церкви, как те, а, оставаясь в ней, совершить дело Реформы. Ближе все-таки были они к Лютеру и Кальвину, чем этого хотели, потому что путь к первым векам христианства был и у них тот же, как у тех, – св. Августин.

«Я никому в мире не смею сказать того, что думаю... согласно с учением св. Августина, о великим разделении взглядов нашего времени... о Благодати и Предопределении, потому что боюсь, как бы и со мною не сделали в Риме того же, что с другими (т. е. отлучили от Церкви)... Но совесть не позволяет мне предать истину», – пишет Янсений в 1621 году другу своему, дю Верже, и начинает письмо важным признанием: «Мне опротивел св. Фома Аквинский, после того как я напитался св. Августином». [6] Основа и утверждение всей католической Церкви – св. Фома Аквинский; этого Янсений не может не знать, но вот все-таки хочет заменить его тем, что в мистерии двух великих ересиархов, Лютера и Кальвина, против Церкви было сокрушившим стены ее тараном – св. Августином, понятым так же точно, как его понимают и те два ересиарха. Прав был отчасти король Людовик XIV, когда, почти отличая Янсения от Лютера и Кальвина, хотел искоренить обе «ереси» как два опаснейших восстания на государство и Церковь. [7]

3

«Августин» Янсения. Древнее и новое пелагианство. Ne evacuata sit crux

Тридцать лет трудился Янсений над огромной книгой о св. Августине, «Учение св. Августина о здравии, болезни и лечении природы человеческой, против Пелагия». [8] Десять раз перечитал все творения, и книги против Пелагия – тридцать раз. «Счастлив был бы я, – говорил он, – провести всю мою жизнь на пустынном острове наедине со св. Августином». [9] Только накануне смерти в 1636 году, в сане епископа Ипрского (eveque d'Ypres), кончил книгу, но не успел увидеть ее напечатанной.

Главная цель книги – обличение Пелагиевой ереси. Чтобы понять религиозное действие Янсения в XVII веке, надо вспомнить, чем была ересь Пелагия за двенадцать веков христианства, от V века до века XVII, и в скрытом виде, под многими личинами, – до наших дней.

Человек у Бога – «не раб, а свободный», учит Пелагий. «Богом самим освобожден человек, получив дар свободной воли». Вместо «первозданного греха» – «первозданная невинность». «Люди все рождаются такими же невинными, как первый человек в раю». «Что же такое первозданный грех», наследие Адама? Только «измышление двух еретиков, Августина и Манеса», учивших, что мир создан не Богом, а «Противобогом» – дьяволом.

«Всякий грех частен и личен; он относится лишь к человеку, а не к человечеству», – учит Пелагий. Всякий человек может сделаться «безгрешным святым», сам, один, одною «свободою воли». Что же такое Благодать? Только «познание Христа» и «подражание Христу» в нравственной жизни, в добрых делах. [10] «Все учение Христа есть учение нравственное прежде всего», мог бы сказать Пелагий вместе с Кантом. [11] В последнем анализе это означает: Христос жил для всех нас; Он умер; Он воскрес (если, конечно, это произошло) ни для кого, ни для чего; людям не нужен Сын Божеский, распятый на Кресте. Им нужен Человек-Христос до и без Креста. Пелагий не доходит до этого последнего заключения; и Кант тоже нет; во всяком случае, он не формулирует его так. Тем не менее, кажется, что устарелое христианство наших дней, от которого отняли кровь Иисуса, которое насквозь рационализировало, стерилизировало страсть Креста, представляет собою не что иное, как Пелагианство, дошедшее до своего последнего заключения.

Если человек изначально свободен, то ему не нужен Освободитель Сын Божий; если человек может сам спастись, то ему не нужен Спаситель. Убыль первозданного греха есть убыль Искупления – то, чего так боялся ап. Павел: «Да не упразднится Крест, пе evacuata sit crux».

Если бы врачу сказали, что черное чумное пятно – только синяк от ушиба – завтра заживет, – то врач почувствовал бы то же, что Августин, когда ему сказал Пелагий, что первозданный грех – ничто. Это же чувствует Янсений так же, как друг его, некогда Жан дю Верже, а теперь аббат Сен-Сиран (под этим именем он принял священство). Замечательно то, что за год до смерти Янсения и за четыре года до появления «Августина» (1640) вышла в свет та книга Декарта, «Речь о методе» («Discours de la Methode»), которая начинает путь всей новой философии к «упразднению Креста». [12]

Чувствуют оба, Сен-Сиран и Янсений, что дух Пелагия разлит, как чумная зараза, в воздухе, которым дышат люди не только в миру, но и в Церкви. Чтобы вернуть в нее человеческие множества, уходящие за Лютером и Кальвином, Орден Иезуитов облегчает и опустошает христианство от его драгоценной тяжести-трудности: «Много званых, мало избранных»; узкий и кремнистый путь Царства Божия делается «широким и бархатным». [13] Сен-Сиран и Янсений, оба видят, что путь, по которому следует Церковь, как и мирской путь, в одинаковой степени ведут к «упразднению Креста».

Правоверные католики не только XVII, но и XX века, обвиняют Сен-Сирана и Янсения в «заговоре» против Римской Церкви; хуже Лютера и Кальвина эти два согретые на груди Церкви змия; Кальвин и Лютер нападают на Церковь извне, а Сен-Сиран и Янсений хотели взорвать ее изнутри, как бы адскую машину подложили под Святейший Престол. [14] Как бы ни были эти обвинения ложны или преувеличены, кажется, в них есть и доля правды, потому что положение этих двух внутренних преобразователей между двумя огнями-двумя Церквями, протестантской и католической, – в самом деле, противоречиво и двусмысленно. Верно сказал кто-то об одном из учеников Янсения (Antoine Arnauld le Jeune): «Кулаками защищался он от Кальвина»; то же можно было сказать и о самом Янсении. [15] Если ночью, один в келье своей, Сен-Сиран хотел читать книги Кальвина, то сначала изгонял из них Нечистую Силу заклинаниями, так же как это делают с бесноватым, – вспоминает

очевидец.[16] Но ни кулаками, ни заклинаниями не защитить внутренней Реформы от внешней, потому что главный религиозный опыт обеих – тайна Предопределения: «Много званых, мало избранных» – один и тот же. Верно кто-то сказал и о самом Янсении: «Он читал св. Августина сквозь очки Кальвина».[17] Можно бы сказать то же и о Сен-Сиране. «Кальвин думал хорошо, только говорил плохо», – заметил однажды он сам в откровенной беседе с другом своим, св. Венсеном де Поль.[18]

Как соединить две Церкви, протестантскую и католическую, в единой Церкви, Вселенской или, говоря языком Паскаля, как «согласовать две противоположные истины», – этот вопрос, может быть, сами того не сознавая и не желая, Сен-Сиран и Янсений только поставили, но на него не ответили. Ответил Паскаль.[19]

4

Начало Пор-Руаяля

В очень глубокой, болотистой долине речки Шеврезы, хотя и вблизи от Парижа и Версаля, но в месте глухом, диком и мрачном, находилась древняя, основанная бенедиктинским орденом в начале XIII века маленькая женская обитель, Пор-Руаяль. К первым годам XVII века пришла она в такой упадок, что в ней оставалось только двенадцать монахинь под началом шестнадцатилетней игумении, Анжелики Арно (Arnauld). Сестры были большею частью молодыми девушками из богатых и знатных семейств, близких ко двору, потому что в тогдашнем светском обществе монастырская жизнь входила в моду. Место было печальное, но сестры жили весело. С часто приезжавшими к ним из Парижа и Версаля молодыми людьми гуляли в рощах, пели, играли на лютнях, плясали и, вместо молитв, читали любовные повести.[20] Были, как те неразумные девы, что вышли ночью навстречу жениху, не налив в светильники масла.

Вдруг все изменилось. В 1608 году странствующий капуцин, брат Базильт, забрел однажды в обитель и проповедовал. Это был недостойный монах, выгнанный из монастыря за дурную жизнь, но человек не дурной, а только очень слабый: все грешил и каялся, и снова грешил, но, как бы низко ни падал, не терял надежды, что Бог подымет его когда-нибудь уже не на время, а навсегда. Каждый раз, когда после покаяний проповедовал, он делал это так хорошо, что слушатели его, хотя и знали, какой он грешный человек, умолялись и каялись вместе с ним, и чудо Благодати совершалось над ними тем очевиднее, чем орудие было недостойнее.

То же случилось и в Пор-Руаяльской обители. Слушая, как брат Базильт проповедовал, сестры каялись и плакали, потому что слышали полуночный зов: «Вот Жених идет, выходите навстречу Ему!» – и видели, что светильники их гаснут.

Плакали все, кроме Анжелики: широко раскрытыми глазами она смотрела на проповедника так, как будто видела за ним Кого-то другого, ужасного или желанного. «Это был мой первый взгляд на Бога, и Его – на меня», – вспоминает потом.[21]

С этого дня все монастырские правила св. Бенедикта – посты, молитвы, бдения, умерщвления плоти, общность имущества – были восстановлены с точностью. Правила начала соблюдать одна игуменья, не принуждая к сему сестер, но пример ее был так заразителен, что все они присоединились к ней, потому что святым огнем Благодати душа от души зажигается, как свеча от свечи.[22]

5

Скоро дошли до Парижа слухи о том, что произошло в Пор-Руаяле, и когда отец Анжелики, королевский адвокат в Парламенте, Антуан Арно Старший узнал, что в обитель не допускается никто даже из самых близких родных, то обеспокоился, потому что нежно любил дочь свою, и одна мысль о том, что она не захочет видеть его, была ему так нестерпима, что он решил тотчас ехать в Пор-Руаяль, чтобы убедиться, что слухи, до него дошедшие, – ложны.

Нагло запертые ворота в монастырский отель увидел Арно, когда вышел из кареты, в которой приехал с женой, сыном и двумя дочерьми. Не было кругом ни души, так что некому было велеть, чтобы отперли. Долго стучали в двери,

но не было ответа. Наконец, чуть-чуть приоткрылось маленькое слуховое оконце в воротах и мелькнули в нем два глаза, такие чужие, далекие, что отец сначала не узнал, что это глаза дочери, а когда узнал, то сердце у него болезненно сжалось. Голос услышал еще более далекий, хотя и говоривший ему на ухо. Долго не мог понять, что она говорит; наконец понял, что просит его войти в соседнее с воротами, но вне монастырских стен, маленькое здание, где находится комната для приема гостей. И когда он это понял, то вся кровь прилила ему в голову, и лицо у него побагровело так, что сын испугался, как бы с ним не сделался удар. Кинулся сын к оконцу, но оно уже захлопнулось. Снова начал изо всей силы стучать кулаками, ногами; но ворота были крепкие, железные; замки и засовы на них были огромные, точно крепостные или тюремные. Руки, ноги отбил так, что уже не мог стучать; только в бессильной ярости кричал и бранился площадью бранью. «Отцеубийца!» – крикнул сын не своим голосом, и что-то послышалось ему в этом слове такое страшное, что вдруг замолчал, оглянулся и увидел, что отец входит в то маленькое здание, где находилась приемная.

Когда Арно вошел в комнату, то увидел лицо дочери за решеткой, разделявшей комнату на две половины: одна – для тех, кто в миру погибает, а другая – для тех, кто у Бога спасается. Двигая ногами с трудом, как это бывает во сне, когда кажется, что на ногах стопудовые гири, подошел к решетке и приложил к ней лицо. Что-то говорил дочери, и она ему, но что именно, не могли вспомнить потом или не хотели от муки. Это были те слова, что проходят по сердцу, как острые ножи по телу, и режут сердце больнее, чем ножи. «Лучше бы она умерла», – подумал он, закрыл лицо руками и горячо заплакал, как маленький обиженный ребенок.

«Батюшка», – тихо вскрикнула она, протянула руки к нему и упала без чувств.

Старшая сестра Морель – та самая, что не хотела отдать ключа от собственного, любимого садика; «собственным» все называли его, и очень сердилась после того, как объявлена была, по уставу св. Бенедикта, общность имения, – говорила матери-игуменье, когда сестры привели ее в чувство: «Что ты сделала, мать, что ты сделала! Разве можно так поступать с отцом? Беги же, беги к нему скорее, пока он еще не уехал».[23]

«Я сделала то, что Он велел», – ответила она, и поняла все, что «Он» – Христос, и вспомнили:

Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (Лука, 14:26).

«Слушайте все! Был отцом моим доныне Пьетро Бернардоне; но вот, я отдал ему все, что от него получил, и теперь уже не могу сказать свободно: не отец мой Пьетро Бернардоне, а Господь Небесный мой Отец!» – на этих словах св. Франциска Ассизского основано было одно из величайших дел человеческих – Братство Нищих.[24] И на словах Анжелики Арно: «Я сделала то, что Он велел», основано было дело не меньшее, если бы люди не поторопились его разрушить.

6

Лет через пятнадцать после возрождения, основанная в 1608 году сестрой Анжеликой община Пор-Руаяльского монастыря выросла так, что места для нее уже не хватило в старых зданиях Шеврезской долины, в «Пор-Руаяле-на-Полях», как называли первую обитель, и в 1625 году основана была вторая – «Пор-Руаяль-в-Париже».[25] Слава обеих прошла по всей стране. Всемогущий кардинал – Ришелье – понял, что надо считаться с ними, как с новою силою, в делах правления. Просвещеннейшие люди Франции – богословы, законоведы, философы, ученые, писатели, вельможи – делались друзьями Пор-Руаяля. Некоторые из них поселялись в Шеврезской долине, строили у стен тамошней обители дома и жили в них, как отшельники. Осушали болота, проводили каналы, возделывали поля и виноградники. Многие работали своими руками – пахали, сеяли, жали, косили и занимались ремеслами. Те, кто впервые посещал Пор-Руаяль, изумлялись невиданному зрелищу: знатные и богатые люди в одежде крестьян и рабочих, с топорами и пилами, с лопатами и косами. Герцог де Лианкур (Liancourt), тоже один из «отшельников», встречаясь где-нибудь в лесу или в поле с крестьянином, первый снимал шляпу и с самой изысканной вежливостью кланялся ему и спрашивал спутника: «Кто это? Не один ли из здешних господ?»[26]

Главным очарованием этой новой фивиады было для людей, утомленных городской искусственной жизнью, это возвращение к природе, о котором мечтал Монтень и будет мечтать Руссо.

днем «отшельники» работали, а вечером вели беседы о глубоких тайнах веры или о новых открытиях в любимых ими науках – математике, физике, механике – о «вихрях» Декарта или «монадах» лейбница.[27]

Если для одних это было только мимолетной забавой и прихотью, то для других – началом новой жизни – того, что навсегда решало их судьбу. Это поняли два великих святых, франциск де Саль (François de Sales) и Винсент де Поль (Vincent de Paul), друзья Анжелики Арно, и благословили Пор-Руаяль.[28]

Было здесь и еще одно очарование – святая тишина пустыни и такая в ней тихая радость, какой нельзя было найти больше нигде. «Мы всегда радовались, – вспоминает один из отшельников. – Наши сердца полны были такой радостью, что и лица наши ею светились. Я никогда не присутствовал на таком празднике».[29]

7

После Анжелики Арно сделал больше всех для Пор-Руаяля аббат де Сен-Сиран. Он понял, какою силою могла бы сделаться эта обитель в борьбе с торжествующим в миру и в Церкви духом Пелагия – опустошением христианства, «упразднением Креста».

Что такое Сен-Сиран как религиозная личность, трудно понять до конца, потому что свидетельства о нем, даже иногда от одного и того же лица идущие, слишком противоречивы. В 1639 году св. Винсент де Поль, после пятнадцатилетней дружбы с Сен-Сираном, говорит о нем почти как о святом человеке и вернейшем сыне католической Церкви, а через десять лет – как о злейшем еретике, замышляющем «совершить переворот в Церкви, чтобы подчинить ее себе».[30] «это прекрасный человек, – говорит о нем Ришелье, только что посадив его в тюрьму Венсенского замка, – а все-таки Церковь и государство должны мне быть благодарны за то, что я сделал... потому что аббат Сен-Сиран проповедует опасное учение, которое может произвести смуту и разделение в Церкви, а я всегда был убежден, что все порождающие смуту в Церкви порождают ее и в государстве, и, следовательно, я оказал им обоим важную услугу, предупредив такую смуту».[31] «Нет больше Церкви вот уже пять или шесть веков, а то, что нам теперь кажется Церковью, лишь куча грязи, только грязная лужа (bourbe)», – сказал однажды Сен-Сиран другу своему, св. Винсенту де Поль.[32] Если это сказал не на ветер, что слишком не похоже на Сен-Сирана, то в чем-то Ришелье да прав, рассматривая доктрину как опасную. Но, может быть, и Анжелика Арно была в чем-то права, сделав Сен-Сирана духовником Пор-Руаяля, в чем-то прав был и тот духовный сын его, который «видел в нем одно из самых живых подобий Иисуса Христа».[33]

Чтобы понять, хотя бы только отчасти (совсем понять нельзя), это противоречиво-двойственное в религиозной личности аббата Сен-Сирана, надо вспомнить то, что Гёте говорит о «демоническом» – «той загадочной силе, которую все чувствуют, но никто не может объяснить» и которая оказывается в разнообразнейших явлениях всей видимой и невидимой природы. «Сила эта накидывается охотнее всего на великих людей и любит сумеречные века». «Демоническое бывает всегда (durchaus) положительно творческим», – утверждает Гёте.[34] Но, кажется, вернее было бы сказать, что здесь та сумеречная область, где свет борется с тьмой, творческое – с разрушительным. «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей», – по глубокому слову Достоевского.

Кажется, в аббате Сен-Сиране, точно так же как в духовном брате-близнецे его, Кальвине, от которого он все откращивался и никак не мог отреститься, в высшей степени присутствовала эта загадочная сила «демонического». Сен-Сиран очень скрытен, может быть, потому, что сам чего-то не понимает и страшится в себе и от людей хочет это непонятное скрыть. Но ученик его, последний великий богослов и философ Пор-Руаяля, Пьер Николь (Pierre Nicole, 1625–1695), откровеннее учителя. Как борется в Сен-Сиране святое и темное, творческое и разрушительное, можно видеть по религиозному опыту Николя.

Жертва Голгофы совершилась не за всех людей, а только за «предопределенных», «избранных»; если этого учения Лютера, Кальвина и

Янсения Николь не отрицает, то сомневается в нем так, что правоверные янсенисты, может быть, недаром подозревают его в «ереси». «Слово Божие озаряет всех приходящих в мир», – учит Николь. «Некогда посеянное Богом в человеке семя добра все еще сохранилось в нем... Как бы ни было искажено лицо человека первородным грехом – черты Лика Божьего уцелели в этом лице... Если цельное здание было сверхъестественным (человек до греха), то развалины его остаются такими же (человек в его теперешнем состоянии)»[35] Есть Благодать у простых добрых людей и даже у язычников.[36] Отблеск лица Божьего светится во всяком добром человеческом деле. И чаша холодной воды может быть подана жаждущему только во имя Христа.

Вывода из всего этого Николь не делает, но сделать его легко: Лютер, Кальвин и Янсений заблуждаются, думая, что Христос умер не за всех людей, а только за «избранных» и что в нужной для спасения Благодати отказано бесчисленному множеству душ.

Но все это – в «дневной душе» Николя, в его сознании, а в «душе ночной», под сознанием – иное. Вот какие страшные сны наяву посещают его: «Мир подобен огромному застенку, где бесчисленному множеству палачей, терзающих жертвы свои и пребывающих во власти своей ярости, ведено щадить только очень немногих из этих несчастных... и их мучают, и только немногим из них ведено спасти жизнь. Но даже и эти не могут быть уверены, что их пощадят. Они боятся смерти, которая постоянно окружает их, боятся людей вокруг них, видя в них отражение смерти. Они не в состоянии различить, кого из этих людей они должны бояться и кого нет... и проводят всю жизнь, ужасаясь и утопая в крови пытаемых братьев своих».[37] А вот и другое видение мира, созданного Всеблагим: «Темная комната, вся наполненная спящими змеями... а на них спит человек... и змеи не жалят его... Вдруг открывается окно, яркий свет падает в комнату, и змеи, проснувшись, накидываются на человека и жалят его, и терзают».[38]

«Бог хранит для нас великие искушения, в которых мы уже не знаем, не дьявол ли Бог, и не Бог ли дьявол», – говорит Лютер.[39] Этого не скажет Николь, но, может быть, нечто подобное чувствует в страшных снах своих наяву. Кажется, эти сны навеяны на него Сен-Сираном, учителем его, а не Сен-Сирана – Кальвином.

Бог разделяет все человечество на две неравные части – одну, неизмеримо меньшую, – не по заслугам наверное спасающихся, и другую, неизмеримо большую, – наверное без вины погибающих, – учит Кальвин и сам признается: «Этот приговор Бога ужасен (*decretum quidam horribile fateor*)».[40] «Ужас больше, чем вера (*terrorem potius quam religionem*)», – скажет Паскаль[41] об этом учении Лютера, Кальвина, Янсения, а может быть, и Сен-Сирана, чья духовная дочь, Анжелика Арно, почти святая, говорила перед смертью: «Я чувствую себя, как у подножия виселицы осужденный злодей, который ждет, чтобы приговор над ним был исполнен. Я думала всю жизнь о смерти, но это – ничто по сравнению с тем, что я думаю и чувствую сейчас».[42]

Сен-Сиран, духовный отец Анжелики, умер задолго до нее, но если бы и жив был, то не мог бы ей помочь ничем, потому что в жизни чувствовал почти тоже, что она в смерти. «Благ Господь», – говорит св. Винсент де Поль. «Страшен Господь», – говорит Сен-Сиран.[43] «Что для тебя главное в Боге?» – спросили однажды Янсения, и он ответил: «Истина». Св. Франциск де Саль ответил бы: «Любовь».[44] А что ответил бы Сен-Сиран? Если верно, что в религиозном опыте есть нечто «демоническое», то у него было бы два ответа: то «Любовь», то «Ужас».

8

Эту «демоническую» двойственность преодолевает Паскаль. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Что это значит, понял Паскаль. «Бог, устраивая все в тишине (любви), влагает веру в человеческий ум разумными доводами, а в сердце – Благодать; делать же это силой и угрозами – значит внушать людям не веру, а ужас (*terrorem potius quam religionem*)».[45] «Иисус Христос – Искупитель всех... Когда вы (ученики Лютера, Кальвина и Янсения) учите, что Христос умер не за всех... вы доводите людей до отчаяния... вместо того, чтобы приводить их к надежде».[46]

Все «демоническое» в человеке совершается под знаком двух, а все Божественное – под знаком Трех. «Две в человеке борющиеся противоположные низшие истины» примиряются в Третьей Истине, высшей, в Боге.[47] «два

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org
порядка»: низшие – «плоть и дух» – соединяются в «Третьем порядке», высшем – в «Любви».[48] Это Паскаль поймет и скажет людям; главное дело всей жизни его и будет в этом.

Верно и глубоко понял один из лучших знатоков Паскаля, родственный ему по духу человек наших дней, христианин и математик, Эмиль Бурту (Bourtoux): «Все – едино, одно в другом, как три Лица Троицы», – эти слова из «Мыслей» Паскаля озаряют, как молния, весь наш умственный кругозор.[49] Вот что значит: «Если вам кажется верным и сильным то, что я вам говорю, то знайте, что это говорит человек, который, став на колени, молился и будет молиться за Безграничное Существо, которому он отдаст все, что сам имеет, а также что и вы имеете, для вашей же собственной пользы и для Его славы».

Два – число «демоническое» – знамение вечной Войны, а вечного Мира знамение – число Божественное Три, потому что воюющих двух примирить может только Третий. О, если бы люди наших дней пред лицом второй Великой Войны – неминуемой гибели всего христианского человечества – поняли, что единственный для них путь спасения – этот, указанный Паскалем: не война, а мир, – не два, а Три.

О, если бы и ты (Иерусалим), хотя в сей твой день понял, что служит к миру твоему! (Лука, 19:42).

Первая встреча аббата Сен-Сирана с Анжеликой Арно – как бы таинственный духовный брак, от которого рождается великое дитя – Пор-Руаяль тех последних дней, когда не в «дневной», а в «ночной душе» его будет поставлен никем, кроме Паскаля, не услышанный вопрос: «Два или Три?» – эта первая встреча произошла в 1623 году.[50] В том же году родился Паскаль.

II. ЖИЗНЬ ПАСКАЛЯ

1

Паскаль родился 19 июня 1623 года, в городе Клермон в Оверни. Замкнутый в полукруг зеленеющих летом, осенью желтых, а зимой ослепительно белых под снегом, дремуче-лесистых гор и потухших вулканов, этот город казался даже в самые яркие, солнечные дни мрачным, потому что большая часть домов была построена в нем на окаменелой черной лаве окрестных вулканов.

Блэз Паскаль родился на улице дэ Гра, между двумя соборами – одним сурового и голого, романского, а другим – сложного и немного, готического зодчества, в двух шагах от той площади, где некогда папа Урбан Второй проповедовал первый Крестовый поход.[51]

Род Паскалей принадлежал в течение двух-трех веков к чиновничьей полузнати, полумещанству. Отец Блэза, Этьен, был младшим председателем Клермонтской Судебной Палаты, человеком всеми уважаемым за безукоризненную честность, довольно богатым и очень образованным, даже ученым, особенно в математике.[52] Жена его, Антуанетта, из Клермонтского почтенного купеческого рода Бэгон, была горячо верующая, добрая и умная женщина. Кроме сына были у них две дочери: одна, Жильберта, на два года старше Блэза, а другая, Жаккелина, на два года моложе.[53]

Мальчик, по третьему году, так тяжело заболел, что едва не умер. Странной была эта болезнь, если верить семейным преданиям: он так боялся воды, что от одного вида ее делались у него судороги; так же боялся отца и, когда тот подходил к нему с матерью, начинал биться в припадке. Люди говорили, что одна бедная женщина, имевшая несчастье прослыть колдуньей, которой госпожа Паскаль подала однажды милостыню, держа младенца на руках, «сглазила» его, «испортила». В «порчу» поверить не помешала Этьену Паскалю вся его ученость. Он разыскал «колдунью» и, угрозами вынудив у нее признание в том, что она действительно «испортила» младенца, заставил ее перенести порчу на черную кошку, которая очень скоро подохла, чем подтвержден был слух о колдовстве. В то же время, по совету колдуньи, начали делать больному припарки из «девяти сорванных на заре, семилетним мальчиком, целебных трав», и скоро младенец выздоровел так, что от болезни не осталось следа.[54]

«Мне иногда кажется, что не все в колдовстве обман... потому что если бы не было в нем чего-то действительного, то люди в него не верили бы вовсе», – скажет Паскаль в «Мыслях», может быть, вспоминая о том, что было с ним

самим в детстве.[55] Страх воды, бывший у него в начале жизни, сделается в конце ее страхом «Бездны», а число лет, когда он заболел, три – так же, как число тех целебных трав, которые спасли его от смерти; трижды три девять – будет надо всей его жизнью сияющим знамением, числом Божественным – Три.

2

В 1626 году, когда Блэзу минуло три года (опять Три), мать его умерла. Памяти жены остался верным Этьен Паскаль до конца жизни, о новом браке не думал и сосредоточил всю свою любовь на детях – больше всего на сыне.

В 1631 году он продал свой дом в Клермоне, продал также, по тогдашнему обычаю, должность свою и, чтобы лучше исполнить то, что считал, по смерти жены, единственным назначением всей своей жизни, – воспитать детей, – переселился в Париж.[56]

«Люди думают, – говорил Паскаль, – что жизнь человека начинается с рождения, а я думаю, что надо считать жизнь с того дня...» Следует только на языке Паскаля возможное сочетание слов: «Жизнь надо считать с того дня, когда человек начинает потрясаться разумом (*etre ebranle par la raison*), что происходит не раньше двадцати лет; до того человек – дитя, а дети – не люди».[57] Кто думает так, тот никогда не знал детства. Но если Паскаль первого детства не знал, то узнает второе. Общий путь людей – от детскости ко взрослости, а путь Паскаля обратный: от взрослости к детскости. Надо ему будет «обратиться», чтобы «сделаться, как дитя». «Этот великий, все испытующий ум был в деле веры послушен, как маленький ребенок, и эту детскую простоту он сохранил до конца жизни», – вспоминает сестра его, Жильберта Перье.[58]

«С детства он верил только очевидным доказательствам, и если ему не приводили их, то он сам их искал, – вспоминает та же сестра Паскаля. – Однажды кто-то за столом нечаянно ударил по фаянсовому блюду ножом, и мальчик заметил, что блюдо зазвучало, но, только что к нему прикоснулись рукой, звук прекратился. Чтобы узнать причину этого явления, он тотчас начал делать опыты и потом изложил их в трактате о звуках... В это время ему было одиннадцать лет, а в двенадцать обнаружился его геометрический гений в необыкновенном происшествии... Часто просил он отца учить его математике, но тот все отказывал, обещая ему это, как награду, когда он научится древним языкам. Видя это сопротивление, мальчик спросил его однажды, что такое геометрия, и тот ответил ему кратко, что это способ чертить правильные фигуры и находить между ними пропорции, и запретил об этом говорить и даже думать. Но, мучимый любопытством, только что он оставался один в комнате, где обыкновенно, отдыхая от занятий, развлекался играми, он начал чертить углем на полу геометрические фигуры, стараясь сделать их как можно правильней. Но, даже имени их не зная, прямые называл „палочками“, а круги „колечками“ и, находя между ними пропорции, дошел, наконец, до тридцать второй теоремы первой книги Евклида (сумма углов в треугольниках равна двум прямым)».

«Как-то раз отец вошел в комнату так тихо, что мальчик, погруженный в мысли свои, не слышал его и долго не замечал». А когда заметил, испугался, побледнел, и, может быть, лицо у него исказилось так же, как в младенчестве, когда отец с матерью подходили к нему, и от ведьминской «порчи» с ним делался припадок. Может быть, в эту минуту он почувствовал почти подобное тому, что чувствовал Адам, вкусив от запретного плода с Древа Познания, и вспомнил угрозу: «Смертью умрешь». Так же испугался и отца. Но больше страха было удивление как бы от чего-то из мира нездешнего, когда на вопрос его, что он делает, мальчик ответил ему тридцать второй теоремой Евклида.

«Сыну не сказав ни слова, отец поспешил к другу своему, ле Пайеру, геометру, и, войдя к нему в комнату, остановился молча, как бы вне себя, а потом заплакал. Ле Пайер в тревоге спросил его, что случилось.

„Я плачу не от горя, а от радости, – ответил Этьен Паскаль. – Вы знаете, как тщательно я скрывал от сына математику, чтобы не отвлечь его от других наук, а между тем вот что он сделал – как бы снова открыл геометрию Евклида!“»[59]

Если все это – легенда, то, может быть, и в ней – такая же не внешняя, а внутренняя правда, как в том рассказе о ведьме, «сглизившей» Паскаля в

младенчестве.

Существует древняя, вероятно, гностического происхождения легенда, о которой упоминает и Данте в «Божественной Комедии». [60]

Ангелам, сделавшим окончательный выбор между двумя станами в довременной войне Бога и диавола, не надо рождаться, потому что время не может изменить их вечного решения. Но колеблющихся, нерешительных между светом и тьмой, добром и злом, благость Божия посыпает в мир, чтобы могли они сделать выбор во времени, не сделанный в вечности. Та же благость скрывает от них забвением прошлую вечность для того, чтобы раздвоение, колебание воли их, в вечности бывшей, не предрешало того уклона воли, от которого зависит спасение или погибель их в вечности будущей. Вот почему люди так естественно думают о том, что будет с ними после смерти, и не умеют, не могут, не хотят думать о том, что было с ними до рождения. Людям дано забыть, откуда, — чтобы яснее понять, куда они идут.

Таков общий закон религиозного опыта. Исключения из него редки, редки те души, для которых приподнялся угол завесы, скрывающей от людей тайну прошлой вечности. Кажется, одна из таких душ — Паскаль.

Чувство незапамятной давности, древности — воспоминание земного прошлого сливаются у него с воспоминанием прошлой вечности, таинственные сумерки детства — с еще более таинственным вспоминанием иного бытия — того, что было до рождения. Так же просто, как другие говорят «моя жизнь», Паскаль говорит: «Моя вечность». На дне всех земных мук его — мука неземная — неутолимая жажда забвения.

Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть.

Дети ближе, чем взрослые, к тому, что было до рождения. В этом, кажется, причина того, что Паскаль обладает никогда ему не изменяющей способностью возвращаться в детство, о котором вспоминает сестра его, Жильберта.

Когда двенадцатилетним мальчиком он «снова открывает геометрию Евклида», то, может быть, не узнает ничего нового, а только вспоминает то, что знал еще до рождения, в прошлой вечности. Вот почему отец его испытывает при этом такое удивление, подобное ужасу, как будто он вдруг заглянул через сына туда, куда человеку не должно заглядывать.

Может быть, душа Паскаля есть лучезарный дух познания, херувим, сошедший на землю, родившийся для того, чтобы сделаться огненным духом любви, Серафимом.

3

Переселившись из Клермона в Париж, Этьен Паскаль вложил все свое имущество в доходные бумаги Парижской Ратуши, но в недобрый час, потому что кардинал Ришелье, всемогущий министр короля Людовика XIII, сделал, как раз в эти дни, то, что власть делала всегда, чтобы наполнить пустую казну, — запустил руку в чужой карман и вынул из него сколько хотел. На четверть были урезаны доходы вкладчиков Парижской Ратуши. Несколько жертв этой несправедливости — в том числе и Паскаль, — выражая свое возмущение главному интенданту-казначею,сыпали его площадною бранью и едва не избили, за что были посажены в Бастилию. Но Паскалю удалось бежать и скрыться у друзей, а потом уехать к себе на родину, в Клермон. [61]

В это время младшая дочь его, восьмилетняя Жаккелина, оставшаяся в Париже у родных, так тяжко заболела оспою, что едва не умерла. Когда в первый раз по выздоровлении увидела она рябое лицо свое в зеркале, то огорчилась, но не очень, а потом и совсем утешилась, сочинив благодарственную молитву в стихах:

Рябинами этими, Боже,
Ты запечатлел лицо мое,
Чтобы девство мое сохранить.
Je les prends, dis-je, o Souverain!
Pour un cachet dont votre main,
Voulut mariner mon innocence... [62]
В те же дни писала она о любви:

Свободна я от ига твоего, Любовь,
Твое безумье разум презирает.

*Libre de ton servage et de cette rigueur,
Qui fait que la raison te fuit et te meprise.* [63]

Богу решила себя посвятить, но в монастырь идти не хотела, потому что «многое», говорила, «делается в монастырях, что разумными людьми не может быть одобрено». [64]

Сочиняет «Утешение» на смерть одной гугенотки:

дал ли Ты ей такую веру, Боже,
Только затем, чтобы ее погубить?
Нет, на милость Твою уповаю
И верю в Твой Промысел мудрый,
И вечную благость Твою. [65]
Это значит: хотя и еретичка, будет спасена.

В этих стихах как будто предчувствует она, что будет и сама полугугеноткой-янсенисткой в Пор-Руаяльской обители и так же в молодости умрет за новую веру.

В то же время пишет королеве на ее беременность не совсем приличные для двенадцатилетней девочки стихи:

Каждый раз, как младенец, еще не рожденный,
Движется во чреве матери, –
Это для наших врагов – землетрясение. [66]
«Маленьими чудесами (*petites merveilles*)» кажутся эти стихи королеве, и Жаккелина, сделавшись придворным поэтом, входит у нее в такую милость, что прислуживает за ее столом. [67]

Однажды, в присутствии кардинала Ришелье, в доме племянницы его, герцогини д'Эгийон (*d'Aiguillon*), мальчики и девочки – в том числе и Жаккелина Паскаль – играли комедию «Тиранство любви». [68]

«Очень был доволен кардинал, особенно когда я выходила на сцену, – писала Жаккелина отцу. – После представления он взял меня к себе на колени и, пока я читала ему сочиненные мною в честь его стихи, обнимал меня и целовал». «Можете написать отцу, чтобы он возвращался, ничего не боясь», – сказал он ей на прощание.

«В самом деле, Монсеньор, этот человек достоин вашей милости, потому что слишком жалко, что он не приносит пользы государству», – подтвердила госпожа д'Эгийон и тут же напомнила ему о Паскале, уже в пятнадцать лет «великом математике».

Тот при этом присутствовал и под взором Ришелье не смущился: помня, что «снова открыл геометрию Евклида», чувствовал свое величие. Если бы кто-нибудь в эту минуту пристальней взгляделся в невозмутимо спокойное лицо его, с почти неуловимой улыбкой, то, может быть, понял бы, с какой высоты этот мальчик смотрел на всемогущего старика в кардинальском пурпуре. Вот когда впервые овладела им та неутолимая «похоть превосходства (*libido excellendi*)», с которой он будет тщетно бороться всю жизнь. [69]

В эти дни Паскаль, на шестнадцатом году, пишет «Опыт о конических сечениях», в котором «делает такое открытие, какое не сделано никем за 2000 лет после Архимеда». [70] Шестиугольник, вписанный в коническое сечение и обладающий тем свойством, что все три точки пересечения двух противоположных сторон его находятся всегда на одной прямой, называет он «Мистической Гексаграммой» (*Hexagramme mystique*), может быть, уже предчувствуя то, что будет движущей силой всех его открытий, – мистику в математике, веру в познании. Три точки пересечения двух сторон шестиугольника находятся на одной прямой. Один, два, Три – это сочетание Божественных Чисел, может быть, и есть для него «мистика в математике». «Это исследование мы продолжим, насколько Бог даст нам сил», – заключает он свою теорему, как молитву. [71]

«Опыт» этот прославил его на всю Европу. Будущий соперник его, Декарт, не верил или только притворялся, будто бы не верит, что шестнадцатилетний мальчик мог сделать такое открытие, а втайне ему завидовал. «Чудным отроком» (*minis adolescens*) называет его великий математик Гассенди, и

Ришелье исполнил свое обещание: Этьен Паскаль назначен был главным королевским комиссаром для взимания податей и налогов в Верхней Нормандии, с огромным жалованием в 70 000 ливров.

С нищих и голодных людей пришлось комиссару выколачивать недоимки и усмирять, с помощью военной силы, «Бунт Босоногих», новую Жакерию. Липнет к золоту кровь – это тогда уже понял сын комиссара.[73]

Чтобы облегчить отцу работу по исчислению налогов, он изобрел «счетную машинку», производившую все исчисления по четырем правилам арифметики, [74] и поспешил обнародовать свое изобретение, «чтобы все узнали, каков этот опыт двадцатилетнего юноши», скажет он сам о себе, когда после десятилетних усилий по усовершенствованию машинки и по устройству более чем пятидесяти образцов ее посвятит ее канцлеру Селье (Sellier), жестоко издеваясь в этом посвящении над злополучным соперником своим, Руанским часовщиком, изобретателем такой же машины. «Жалкий выкидыш его был мне так противен, что я и к собственной машине моей охладел бы, если бы не было угодно Канцлеру своим покровительством пресечь в корне это зло, чтобы не лишить меня славы моей».[75]

В этом изобретении Паскаль, может быть, сам уже предчувствовал то, что будет второю движущей силой всех его открытий – прикладное, жизненное действие науки – власть человека над природой.

В то же время начались у него те болезни, которым суждено было длиться, с небольшими перерывами, двадцать лет. «Не было у меня, с восемнадцати лет, ни одного дня без страданий», – скажет он сам в конце жизни.[76] Первое начало этим болезням положил его отец, так же «сглазив», «испортив» его наукой, как некогда клермонтская ведьма – колдовством. Кроме физики, механики и математики, ни о чем не говорил с ним, даже за обедом и ужином, отбивая у него охоту к пище и закармливая плодами с дерева Познания.

Чем-то подобным параличу поражена была вся нижняя часть тела его, ноги иногда почти совсем отнимались, «холодея, как мрамор», и, даже когда начинали служить ему снова, он не мог ходить без костылей.[77]

В эти дни он написал «Молитву о добром употреблении болезней (Priere pour demander à Dieu le bon usage des maladies)». «Господи, сделай так, чтобы Ты жил и страдал во мне... да утешит меня Твой бич...» «Некогда я считал здоровье благом, не потому, что здоровому мне было бы легче послужить Тебе, Господи... а потому, что я мог предаваться необузданной всем наслаждениям». «Вся моя жизнь доныне была ненавистной Тебе: ибо, презирая слово Твое и святейшие Таинства Твои, я жил в гнусной праздности».[78]

Судя по этим угрызениям, может быть, несколько преувеличеным, но, кажется, все-таки искренним, Паскаль в юности не был вовсе таким «святошей», каким изображает его Жильберта Перье в своем полуугенотском «Житии св. Блэза Паскаля».

В зиму 1646 года Этьен Паскаль, выйдя однажды в гололедицу из дома, чтобы помешать глупому поединку двух друзей своих, поскользнулся на льду, упал и вывихнул себе ногу в бедре так, что был отнесен домой на носилках. Чтобы вправить вывих, пригласили двух знаменитых костоправов, сельских владетельных сеньоров, братьев Дэшан, пламенных проповедников «новой евангельской веры», по св. Августину и Янсению, чья книга «Внутреннего человека преображение», во французском переводе Сен-Сирана, основателя Пор-Руаяльской обители, была в искусных руках двух костоправов тем же для сокрушенных сердец, чем лубки и колодки для сломанных рук и ног.

Братья Дэшаны, прожив около трех месяцев в доме Паскалей, обратили Блэза в новую веру; тот обратил сначала младшую сестру свою, Жаккелину, потом – отца и, наконец, старшую сестру, Жильберту Перье, с мужем, подъехавшую как раз вовремя, в чем не преминули новообращенные увидеть «особый Промысел Божий», так же как в глупом поединке двух друзей, и в гололедице, и в счастливом падении Этьена Паскаля.[79]

Не было, впрочем, никакого действительного обращения, потому что все в доме

Паскалей были верующими всегда и только в простоте сердца думали, что можно разделить жизнь на две неравных части, отдавая большую часть – миру, а меньшую – Богу. Но теперь узнали, что этого сделать нельзя и что надо отдать всю жизнь или миру или Богу. Этот-то выбор они и сделали, или им казалось только, что сделали, потому что скоро суждено им было убедиться, что Бога выбрали они больше умом, чем сердцем.[80] Что это было действительно так, видно по делу Паскаля-сына с бывшим францисканским иноком Жаком Фортолом,[81] аббатом Сэнт-Анжем. Этот детски простодушный и безобидный старик точно впал в «ересь», утверждая, что вера нужна только для слабых умов, а сильные могут постигнуть тайны Божии без помощи веры.

Новообращенный Блэз Паскаль, вместе с двумя друзьями своими, Адриеном Озу (Auzoult), юным математиком, и Раулем Галлэ (Halle), сыном важного руанского чиновника, восстали на о. Сэнт-Анжа с такою пламенною ревностью, что сам Торквемада мог бы им позавидовать. Под слишком нескромным и упорным давлением Паскаля Руанский архиепископ вынужден был трижды возобновлять это для него постылое дело, сам допрашивать бедного о. Сэнт-Анжа и заставлять его отречься от ереси, которой, может быть, меньше боялся, чем правоверия Паскаля. Три молодых и злых петушки хотели заклевать добрую, старую курочку.[82] Этот большой юноша на костылях, с прозрачно-желтым, как воск, изможденным лицом, с горбатым носом – хищным клювом – и с огромными, лихорадочно горящими глазами напугал архиепископа так, что ему казалось иногда, что Паскаль обличает в ереси не только о. Сэнт-Анжа, но и его самого.

5

«Похоть знания (*libido sciendi*) – ядовитейший плод грехопадения», – учит Янсений, и с ним соглашается новообращенный Паскаль, а между тем, в эти именно дни, предавался «похоти знания» с такой неутолимою жадностью, как еще никогда. Видно и по этому, что выбор между Богом и миром он сделал больше умом, чем сердцем. Пока читал Янсения или страдал от болезни – презирал науку; но только что от него отступала болезнь, как демон Знания снова к нему приступал. Что-то было в нем, грешное или святое, что не могло или не хотело умереть для мира.[83]

Осенью 1648 года, продолжая изыскания Галилея и Торичелли, Паскаль делает «великий опыт над равновесием жидкостей (*Grande expérience de l'équilibre des liquides*)», чтобы опровергнуть идущее от Аристотеля и принятное Декартом учение схоластиков о господствующем в природе «страхе пустоты» (*horror vacui*).

Шурин Паскаля, муж его сестры Жильберты, советник Судебной Палаты в Клермоне, Флорен Перье, исполнил с точностью замысел его: в присутствии многих свидетелей делал на различных высотах горы Пюи-де-Дома, близ Клермона, то при ясной погоде, то при дожде и тумане, опыты с двумя наполненными ртутью стеклянными трубками – одной у подножия горы, а другой – на вершине, чтобы знать, зависит ли подъем ртути от этих высот. Если бы уровень ее понижался при восхождении на гору, то было бы доказано, что действительная причина этого понижения не «страх пустоты», а тяжесть и давление воздуха, потому что у подножия горы это давление больше, чем на вершине, а утверждать, что природа «боится пустоты» внизу больше, чем наверху, было бы явной нелепостью.

Опытом этим были не только доказаны все гипотезы Паскаля о равновесии жидкостей, но и заложено основание всей точной науки новых времен. «Опыта не может ни заменить, ни опровергнуть никакое отвлеченнное понятие». «Опыт убедительнее всех рассуждений». «Разум должен подчиниться опыту».[84]

Есть что-то в человеке выше и сильнее разума; если это понял Паскаль, то понял и то, что янсенисты не правы: знание может и не быть «суетою» (*vanitas*). А поняв это, он соединил бы, хотя бы только в одной точке, знание с верою – природу с Богом.

В том же году изобретает он гидравлический пресс. Если в замкнутом отовсюду и наполненном водою сосуде находятся два отверстия, одно во сто раз больше другого, и если к обоим плотно приложены закрывающие их поршни, то сила человека, надавливающего на малый поршень, будет равна силе ста человек, толкающих тот поршень, который во сто крат больше, так что сила эта превзойдет силу девяноста девяти человек. Вот как лучезарно ясно и детски просто это новое учение о гидростатике – один из путей к бесконечному

умножению власти человека над природой. Частные законы равновесия жидкостей возводит Паскаль в этом учении и к общим законам механики, доказывая, что три статики – твердых, жидких и газообразных тел – должны быть частями одной будущей науки.[85] И здесь опять предчувствует он возможное соединение знания с верою, Бога с природой. «Три начала – пространство, число и движение, – объемлющие мир», внутренне связаны, потому что «Бог все сотворил по весу, числу и мере (*Deus fecit omnia in pondere, in numero et mensura*), – скажет Паскаль в своих пророческих заметках «О духе геометрии» («*De l'esprit géométrique*»).[86] движущей силой всех его открытий будет и это предчувствие возможного соединения Бога с природой.

Но и здесь за бескорыстною жаждою знания скрывается у него все та же неутолимая «похоть превосходства». Опыт над равновесием жидкостей он так же спешит обнародовать, как некогда – изобретение счетной машины. «Я это делаю, – признается он, – потому что, употребив на это открытие столько времени, трудов и денег, я боюсь, чтобы кто-нибудь... не похитил его у меня».[87]

Опыт над пустотою еще больше прославил имя Паскаля, возбудив еще сильнейшую зависть в Декарте. «Это я внушил ему два года назад желание сделать этот опыт и уверил его в успехе, потому что этот опыт вполне соответствовал тому, что я предполагал, а ему самому этот опыт и в голову никогда не пришел бы, потому что он был противного мнения», – пишет друзьям своим Декарт. Это значит одно из двух: или Паскаль – вор, или Декарт – клеветник. Чтобы не делать между ними печального выбора, потомство, может, с чрезмерной легкостью оправдает обоих, объяснив все это дело «недоразумением» и «ошибкой» декарта.[88]

6

«Заболев от чрезмерных научных работ, Паскаль вынужден был покинуть их по совету врачей, чтобы предаться светским развлечениям, карточной игре и другим рассеяниям», – вспоминает янсенистская летопись тех дней.[89]

В это время Жаккелина, после своего обращения в новую веру, отказалась выйти замуж и решила идти в монастырь, изменив прежнее мнение свое, что «в монастырях делается многое, что разумными людьми не может быть одобрено». Но когда она сообщила отцу о своем решении, тот отказал ей в согласии. Видно и по этому, что Этьен Паскаль так же, как сын его, сделал выбор между Богом и миром больше умом, чем сердцем, и построил свой дом на песке. А Жаккелина строила на камне и, оставаясь непреклонной в решении своем, только обещала отцу отложить свой постриг до его смерти. Но, поселившись в отдельной комнате, из которой почти никуда не выходила, жила она в родном доме, как чужая, и в миру, как монахиня. Ласкова была со всеми, но как бы отсутствовала и казалась мертвою среди живых. Брат в это время был на ее стороне, может быть, потому, что сам внушил ей первую мысль о монашестве.

Желая удалить dochь от опасного соседства с Пор-Руаялем и, может быть, надеясь, что внешняя перемена жизни повлечет за собою и внутреннюю, отец увез детей в Оверн и, вместе с тем подозревая Жаккелину втайной переписке с Пор-Руаяльским духовником ее, аббатом Сенгленом (*Singlin*), и матерью Агнессой, игуменьей, поручил старой няне и ключнице, Луизе Дэфо, наблюдать за дочерью и доносить ему обо всем. Хуже всего было то, что и брат, начав ревновать ее к Пор-Руаяльским отшельникам, перешел постепенно, может быть, сам того не сознавая, на сторону отца.[90]

Когда Этьен Паскаль тяжело заболел, Жаккелина не отходила от него, ночей не спала, но чем нежнее ухаживала за ним, тем мучительнее казалось ему, что она только и ждет смерти его, чтобы уйти в монастырь.[91]

Осенью 1651 года Этьен Паскаль умер. Сын ему сочинил надгробную надпись, а старшей сестре своей, Жильберте Перье, и мужу ее – утешительное послание, такое же бесстрастно отвлеченное, как наблюдения над подъемами ртути в стеклянной трубке на разных высотах.

В этих общих местах, взятых как будто из «Руководства» Эпиктета, чувствуется мраморный холод stoического Портика или параличных ног Паскаля, дошедший до сердца его. Кажется, иногда он верит насильно, скав кулаки и стиснув зубы, в то, что говорит: «Не будем скорбеть о смерти его, как язычники, для которых нет надежды; но будем помнить, как христиане, что в смерти он только исполнил то, для чего родился». «Я не говорю, чтобы вы не

скорбели вовсе: удар слишком для нас чувствителен... Но в великой скорби мы должны находить и великую радость с полезным для души назиданием». «Я потерял в нем больше вас всех. Если бы он умер шесть лет назад, то смерть его была бы для меня гибелью, и хотя я сильнее и уже не так нуждаюсь в нем, как прежде, но все же, в течение десяти лет, он был бы мне еще нужен». [92] Нужен был бы ему отец не навсегда, а только на десять лет. Какая математическая точность расчета и какая сухость сердца! Чтобы это почувствовать, стоит лишь сравнить как будто христианское утешение Паскаля с как будто языческим отчаянием св. Бернарда Клервосского, говорящего о смерти брата: «Смерти я ужасаюсь для себя и для своих... Разве плакать о смерти любимых – значит восставать на Бога? Нет, плакал о ней и сам Христос». Это о смерти брата по плоти, а о смерти брата по духу – еще сильнее: «Лучше бы Ты сразу убил меня, Господи, чем так терзать!» [93]

«Смерть без Христа... ужасна и ненавистна... а со Христом любезна и сладостна», – учит Паскаль. «Смерть всегда – горечь горечей», – не учит, а плачет св. Бернард. Кто из них ближе к Тому, о Кому сказано:

Всех врагов своих низложит... последний же враг истребится – Смерть (1 Коринф., 15:25–26).

Смертью своей лишит силы имеющего державу смерти, то есть дьявола (Евреям, 2:14).

Все мертвое в страшном «утешении» Паскаля, кроме этих чудесных, уже из глубины сердца сказанных слов: «Лучшее милосердие к умершим – делать то, что они при жизни велели бы нам делать, и быть такими, какими бы они хотели нас видеть, потому что этим мы как бы воскрешаем их в себе, так что они и после смерти все еще живут и действуют в нас». [94]

7

«После кончины отца мой дядя мог предаться светской жизни с еще большей легкостью», – вспоминает о Паскале племянница его, Маргарита Перье. [95] Светская жизнь его продолжалась недолго – месяцев семь или восемь – до февраля 1652 года. [96] Кажется, лучше всего можно понять, чем была эта жизнь по его же собственным воспоминаниям в тех «Мыслях», которые он озаглавил «Развлечения» (*Divertissements*).

«Нет ничего для людей невыносимее, чем совершенный покой, без страстей, без дел, без рассеяний. Люди чувствуют в нем свое ничтожество, покинутость, бессилие, пустоту, и тотчас овладевает ими скука, чернота, безнадежность и отчаяние». [97] Вот где находит Паскаль не мнимый, а действительный в человеке «страх пустоты». Тот внешний опыт, научный, помогает этому внутреннему опыту, религиозному. «Люди жадно ищут женского общества, войны, государственных дел, все это для того, чтобы чем-нибудь наполнить страшно зияющую в сердце их бездуху пустоту». «Думая, что охотники безумствуют, когда весь день травят зайца... философы ошибаются в человеческой природе: заяц не спасает людей от мыслей о смерти и страданиях, но охота спасает от них... Люди воображают, что ищут покоя в рассеяниях, а на самом деле ищут в них волнения...» «Вот человек, опечаленный смертью жены или сына. Почему он вдруг забыл свою печаль?.. Потому что ему подали мяч, который надо перекинуть другим игрокам». [98] «Пляшущий думает о том, куда поставить ногу, – от печали и это спасает». [99] «О, как пусто сердце человека и как полно нечистот!» [100]

«Сколько времени потратил я на отвлеченное знание, пока оно мне, наконец, не опротивело, когда я понял, что почти ничего не узнал; когда же я начал изучать людей, то увидел, что отвлеченное знание человеку не свойственно и что я больше заблуждался в науке, чем другие в невежестве». [101] «В пропасть люди беспечно бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти». [102]

«Сделаться богами и отречься от страстей хотят одни из философов, а другие – отречься от разума и сделаться скотами», – скажет Паскаль в «Мыслях», может быть, вспоминая о том, как он сам чувствовал в себе эту страшную двойственность, которую имел случай наблюдать в одном из своих светских друзей, Де Барро (De Barreau). Этот великий эпикуреец и безбожник мог бы участвовать в том подобии «черной обедни», в котором врач-священник Бурдело (Bourdelot) вместе с принцессой Палатинской и герцогом Конде хотели сжечь частицу древа Креста Господня, но не могли этого сделать, что послужило к обращению принцессы. [103] Когда Де Барро был здоров, то пил и распутничал, а когда был болен, каялся и слагал такие молитвы, как эта:

Праведны суды Твои, Боже...
но на какое место, не залитое кровью Христа,
мог бы упасть Твой гнев? [104]
8

«В эти дни он был совершенным красавцем», – вспоминает о молодом Паскале Маргарита Перье. [105] Светские развлечения так пошли ему впрок, что вместе с янсенистским благочестием он отбросил и костили.

В светских домах, у госпожи Рамбуайэ (Rambouillet), у маркизы де Саблэ (Sable), у герцогини д'Эгийон (Aiguillon) и у других ученых «жеманниц» (Precieuses), тщетно осмеянных Мольером, потому что соблазн их был тоньше и опаснее, чем ему казалось, – Паскаль был дорогим гостем, хотя, должно быть, и нелегко было ему выслушивать их пожелания, чтобы «Евангелие обладало большею прелестью слога». [106] Дамы эти были так начитаны, что их не могла запугать и та ученая беседа Паскаля по гидростатике, о которой вспоминает в плохоньких стихах один из тогдашних поэтов:

Говорил намедни Паскаль
В Люксембургских садах,
В сонме дам и вельмож,
О водометных струях,
И так умна была его беседа,
Что его сочли за Архимеда. [107]

Юный герцог Роаннец (Roannez), губернатор Пуату (Poitou), в которого влюблены были все наследницы Франции, между тем как сам он был влюблен в одну математику, так привязался к Паскалю, что поселил его у себя в доме и, не желая разлучаться с ним ни на один день, брал его с собой в путешествия. Люди говорили, что Паскаль служит у герцога, а на самом деле тот служил у него. [108]

Рыцарь де Мерэ был тоже вольнодумцем и безбожником, но более последовательным, чем Де Барро. «Жизнь, – говорил он, – не стоит того, чтобы думать, как жить; думать надо только о том, как бы прожить с наибольшей приятностью». [109] Легким и пустым казался он иногда, но на самом деле не был таким, что видно уже из того, что человек, подобный Паскалю, мог поступить к нему на выучку и узнать от него многое, чего он уже никогда не забывал. [110]

Для рыцаря де Мерэ Паскаль – «хотя и великий математик, но человек, лишенный всякого вкуса». [111] В школе де Мерэ, «судии всех изяществ» (arbiter elegantiarum), учится он, как, входя в гостиную, снимать для поклона широкополую, с пышными белыми перьями шляпу и скользить ногой в узком, точно женском, башмаке по зеркальному полу или пушистым коврам; как носить белокурый парик и бант из огненно-ярких лент у плеча, а на рукавах тонкое, как паутина, брабантское кружево; как руку держать на рукоятке рапиры с длинным и гибким андалузским клинком, а главное, как соблюдать меру во всем – в правде и во лжи, в мудрости и в безумии, в вере и в сомнении.

С рыцарем де Мерэ Паскаль впервые выходит из пыльного книгохранилища и душной монашеской кельи на свежий воздух. «Я жил в изгнании, а вы меня вернули на родину», – пишет он своему учителю. [112] Что изгнание для него – христианство, а родина – язычество, этого он, может быть, еще и сам не знает, но знает за него де Мерэ: «Кроме этого видимого мира есть другой, невидимый, в котором достигается высшее знание». [113] Этот мир – не загробный, а здешний, земной, как бы земная вечность, которая, может быть, стоит неземной.

Главною наукой де Мерэ было то, что он называл «благородством», «честностью» (honnetete), – «искусство превосходить во всем, что относится к приятностям и пристойностям жизни», среди людей высшего общества, у которых нет иной цели, как быть «достойными любви и давать радость всем людям». [114]

«Вы пишете мне, что я разочаровал вас в математике и открыл вам то, что вы без меня никогда не узнали бы, – учит он Паскаля, как маленького школьника. – Но ваши длинные рассуждения, вытянутые в одну линию, действительно мешают вам проникнуть в высшее знание. Предупреждаю вас, что вы многое от этого теряете... потому что искусство рассуждать по тем правилам, которые так

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

высоко ценят полупросвещенные люди, на самом деле, почти ничего не стоит... Вы все еще остаетесь в заблуждениях, в которых запутали вас ложные геометрические доказательства... и я не поверю, что вы совсем вылечились от математики, пока вы будете утверждать, что атомы делимы до бесконечности... Знайте же, что естественное чувство находит истину лучше всех ваших доказательств. Будем помнить, что солнце светит и греет, а здравый смысл и благородство выше всего». [115]

Первое впечатление, более внешнее, произвел на Паскаля де Мерэ, а второе, более глубокое, тот странный человек, которого ему суждено было никогда не забыть и которого он называет просто, без всякого вельможного титула, «Митон» (Miton), может быть, потому, что он для него человек по преимуществу. Рыцарь де Мерэ самодоволен и тщеславен, а Митон смирен, потому что заглянул в последнее ничтожество всего. «Стоят ли люди такого труда?» – пишет он де Мерэ, когда тот замышляет сочинить «бессмертную книгу». «Кажется, вернее всего думать только о самом простом, легком и даже забавном». А когда узнает, что Паскаль ставит его выше Платона и Декарта, он только смеется, потому что слишком хорошо знает цену себе, так же, впрочем, как и тем великим людям. «Скажите Паскалю, что я очень благодарен ему и никогда не сомневался в его одобрении», – пишет он де Мерэ. [116]

«В мире ничто не стоит ничего», – говорит он уже на последнем пределе отчаяния. Если бы он мог сказать: «Здесь на земле не стоит ничто ничего», – то, может быть, переступил бы за тот волосок, который отделяет его от христианства. Но этого он не скажет и за волосок не переступит никогда.

В жизни Митон, как Дон-Жуан в аду:

Когда сошел он в ад и дал обол Харону,
Безмолвно понеслась ладья по Ахерону...
И жен полунагих неисчислимый рой,
Метавшийся во тьме, под черным сводом ада,
Гнался за ним и был, как жалобное стадо
Закланых жертв. Но царственный герой
Смотрел на след ладьи, ничем не возмутим,

И ни одной из жертв не удостоил взгляdom. [117]

Что для таких обнаженных сердец, как у Паскаля, хуже всего – бесконечная жестокость мира? Нет, грубость. Если так, то понятно, чем пленяют его такие люди, как де Мерэ и Митон, – обаятельной любезностью. Как бы ногой, израненной холодными и острыми камнями дороги, ступает он вдруг на мягкую и теплую от солнца траву. За этот краткий отдых от грубости он будет им навсегда благодарен, потому что отдых, увы, слишком краток: скоро он поймет, что любезность их обманчива. «Всякое я ненавистно. Вы, Митон, только прячете ваше я, но не освобождаетесь от него: вот почему и вы ненавистны». [118]

9

Кажется, тщетны сомнения историков, что «Речь о любовных страстиах» («Discours sur les passions de l'amour») принадлежит Паскалю. Голос его слышится в ней слишком внятно. Стоит лишь сравнить эту «Речь» с теми «Мыслями», где говорится о любви, чтобы услышать, что здесь и там голос один. Сомнение, впрочем, понятно: трудно поверить, чтобы иные слова в «Речи» могли быть сказаны христианином, хотя бы только в возможности. Все в этой «геометрии любви» как будто отвлеченно и холодно, а на самом деле страстно и огненно.

«Когда говоришь о любви, то уже начинаешь любить... У любви нет возраста: она всегда рождается». [119] «Страсть охватывает сердце и терзает его. Но как бы низко ни падал любящий, всякий луч надежды снова подымает его на высоту. Женщинам иногда нравится эта игра. Но, и делая только вид, что жалеют, часто они жалеют искренне, и какое в этом для любящих блаженство!» [120]

В эти дни Паскаль доводит счетную машину свою до совершенства и посыпает ее молодой шведской королеве Христине с таким письмом: «Я питаю высшее уважение только к тем, кто находится на высшей ступени знания или власти. Эти так же, как те, могут считаться владыками, потому что власть государей есть только образ той, которую высшие духи имеют над низшими, и даже эта власть знания больше той (власти государственной), потому что дух больше тела». [121]

Кажется, точнейшую меру тогдашнего удаления Паскаля от христианства дает
Страница 16

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org
презрительное умолчание в этом письме о том «порядке святости», о котором он некогда скажет: «Этот порядок бесконечно выше вещественного и духовного порядка». [122]

«Вы один из тех гениев, которых королева ищет», – отвечает Паскалю на его письмо королеве врач ее Бурдело.[123] «Вы – человек самого точного и проницательного ума, которого я когда-либо знал. С вашим упорством вы превзойдете всех великих людей, древних и новых веков, и завещаете потомству чудесную легкость в деле познания». Вот какие похвалы нужны Паскалю, чтобы утолить в нем «похоть превосходства», скрытую под «похотью знания».

Судя по «Мыслям» Паскаля, он был таким очаровательным собеседником, что трудно себе представить, чтобы в обществе тогдашних женщин, не только ученых «жеманниц», не нашлось ни одной, которая пленилась бы его очарованием. Если он еще не любил, то, может быть, по слову св. Августина, «уже любил любовь». «В каждом сердце есть место, ожидающее любви», – признается он в «Речи». «Каждый человек ищет в мире воплощение той красоты, которую он предчувствует».[124] Это значит, по учению Платона, что Бог сотворил души «предустановленными четами» и что любовь земная есть только тень любви небесной. Если так, то имя «Клермонтской Сафо», кажется, менее всего «ученой жеманницы», хотя и влюбленной в геометрию так же, как и в Паскаля-геометра, в жизни его промелькнуло недаром.

«Человек создан для наслаждения»,[125] – говорит Паскаль в «Речи о любовных страстиах». «В смерти он исполнил то, для чего был создан», – говорил он в «Утешении» о смерти отца. Стоит лишь сравнить эти слова, с тем чтобы увидеть весь им пройденный путь. «О, как счастлива жизнь, которая начинается любовью к женщине и честолюбием кончается!» Это значит: «похотью плоти» начинается счастливая жизнь, а кончается «гордостью житейскою». Что это – отречение от Христа? «Я от Него ушел и отрекся; я распял Его», – скажет он сам, когда поймет, что сделал.[126] Нет, Паскаль от Христа не отрекся, а только «заснула от печали», как ученики в Гефсиманскую ночь.

«Видя, как он живет, скорбела она и стенала», – вспоминает Жильберта Перье о Паскале и Жаккелине.[127] «Больше всего в мире он любил Жаккелину», – вспоминает дальше Жильберта Перье.[128] Может быть, только ее одну и любил по-настоящему. Оставшись один по смерти отца, он больше чем надеется – он уверен, – что Жаккелина пощадит его и отложит постриг на несколько лет. Но не пощадила, дня не хотела подождать, и вся ее пощада свелась к тому, что, зная, как ему будет больно, и сама не смея нанести ему удар, просила об этом Жильберту.

31 декабря 1652 года совершен был раздел имущества по завещанию отца в присутствии нотариуса, а на 4 января назначен был день поступления Жаккелины в монастырь. «3 января, в самый канун ее ухода из дома, она попросила меня сказать что-нибудь брату, чтобы уход ее не слишком его поразил, и я это сделала так осторожно, как только могла... Но он все-таки был поражен и тотчас ушел, не простившись с сестрой, которая в это время была в соседней маленькой комнате, где обыкновенно молилась и откуда вышла ко мне только по уходе брата, потому что боялась, что вид ее будет для него тягостен. Я передала ей те нежные слова, которые он просил ей сказать, и после этого мы все пошли спать. Я была от всей души согласна с тем, что она решила сделать, но важность этого решения так волновала меня, что я и глаз не могла сомкнуть во всю ночь... Утром, около семи часов, видя, что сестра еще не всталла, я подумала, что она, должно быть, тоже не спит... когда я вошла к ней в комнату, то увидела, что она спит глубоко. Шум моих шагов ее разбудил, и она меня спросила, который час. Я ей сказала и тоже спросила, хорошо ли она спала и как себя чувствует. „Очень хорошо“, – ответила она, всталла, оделась и вышла из спальни, делая все это с таким непостижимым спокойствием, что я не могла надивиться. Мы с нею даже не простились, чтобы не расплакаться, и, когда она проходила мимо меня, чтобы выйти из дома, я от нее отвернулась».[129]

10

Не успела Жаккелина переступить за порог святой обители, как между этими умными и добрыми, почти святыми, людьми началась такая жалкая и постыдная, мещанская свара из-за грошей, что этому трудно поверить. С тем же ожесточением, как некогда с о. Сен-Анжем из-за ереси, а потом с руанским часовщиком из-за счетной машины, борется теперь Паскаль с любимой сестрой

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

из-за наследства. Бедная послушница едва не умерла от стыда и горя, узнав, что брат хочет с нею судиться из-за этих грошей, и тотчас написала ему и сестре, что отказывается от всего в их пользу.[130] «Денежные расчеты их, может быть, и правильны, – говорила она, – но до сих пор не были у нас в обычай».[131]

Если даже главный зачинщик всей этой свары – Паскаль, то, может быть, он все же не так виноват, как это кажется. В эти именно дни дела его были очень плохи, много проигрывал он в карты и жил в кругу золотой молодежи выше своих средств. Но и супруги Перье возмущались еще сильнее, чем он, потому что вынуждены были сделать вклад в монастырскую казну за четыре года до того, как это было условлено, а Жаккелина, может быть, возмущалась тем, что они требуют, чтобы монастырь принял ее из милости, как нищую. Мать-игуменья, Анжелика, доказывала ей с легкостью, что «скорбь ее суетна, потому что она страдает только от гордости, стыдясь, что будет принята в обитель без вклада». Жаккелина хотя и соглашалась с этим, но гордости, этого первородного греха Паскалей, не могла в себе победить.[132]

Было, может быть, у брата ее и тайное ожесточение на этих «господ Пор-Руаяля», бесчеловечных святых или святош, которые отняли у него «последнюю свечку», Жаккелину. Несколько слов из неотосланного письма дают нам заглянуть в тогдашние чувства его: «Эти господа очень боятся, что маленькое промедление может быть причиной большого, и потому так спешат с ее пострижением.. Вот чем они мне заплатили!»[133]

В то же время мать Анжелика, утешая Жаккелину, с беспощадною нежностью вонзает ей нож в сердце: «Главным сокровищем вашей семьи была та любовь, которая доныне делала все между вами общим. Вот чего Богу угодно было вас лишить». А мать Агнесса повертыает нож в сердце: «Слишком ваш брат погружен в суету мирскую, чтобы отказаться от личных выгод для той милостыни, на которую вы хотели бы употребить эти общие деньги. Нет, чуда Благодати от такого человека ждать нельзя»[134]

Видя горе сестры, Паскаль уступает ей во всем, «но более из чувства чести, чем по любви».[135] «Он приехал ко мне в Пор-Руаяль-на-Полях с очень сильной головной болью от великой обиды, но все же немного смягченный, судя по тому, что вместо двух лет отсрочки, о которых просил меня в последний раз, согласился подождать до всех Святых, а когда увидел, что я остаюсь твердой, то смягчился уже окончательно», – вспоминает Жаккелина.[136] Это значит: признал себя побежденным.

7 марта 1652 года Жаккелина пишет брату: «Если вы не имеете силы следовать за мной, то, по крайней мере, не удерживайте меня... Не отнимайте у меня того, что вы не можете мне дать... Я хотя и свободна, но нуждаюсь в вашем согласии, чтобы сделать то, что я сделаю, с радостью и душевным спокойствием... Сделай же по добруму чувству то, что, все равно, ты должен будешь делать по необходимости».[137] В этом внезапном переходе с «вы» на «ты» больше силы, чем во всех словах.

Жаккелина постриглась под именем «сестры Евфимии». Когда Паскаль в первый раз увидел ее в толстой белой шерстяной накидке с огненно-красным крестом на груди и в длинном черном платке, плотно облегавшем как будто вдруг постаревшее и покривившее лицо ее, на котором яснее выступили оспенные рябины, то не узнал сестры. «Что они сделали с ней, Боже мой, что они сделали!» – подумал он с удивлением и каким-то злорадством, жестоким не к ней, а к себе, и тут же преподнес ей давно уже приготовленный к ее новоселью подарок – сообщил, что «намерен жить, как все живут, – поступить на казенную службу и выгодно жениться, и что уже приглядел себе невесту, знатную, красивую и богатую девушку».[138]

Молча опустила глаза сестра Евфимия, и в лице ее ничто не изменилось. Но по тому, как тонкие губы сжалась в ниточку так, что побелели, – он понял, что удар был меток и глубок, прямо в сердце; но понял и то, какая это была жалкая месть.[139]

Но вместе с тем он чувствовал, что так покинут Богом, что не испытывает к Нему никакого влечения, и хотя изо всех сил стремится к Нему, но только по разуму, а не по действию духа Божия... О, какими страшными цепями он должен быть прикован к миру, чтобы так противиться Богу!.. Все это он говорил так, что мне было жалко его». [140] «Я была за него в муках родов, доколе в нем не изобразился Христос», — могла бы сказать Жаккелина о брате своем, Паскале, как Павел — о братьях своих, Галатах (Гал., 4:19).

В эти дни Паскаль испытывает ту страшную «сухость сердца», которую так хорошо знают святые: Бог держит человека за руку, ведет его и вдруг покидает. «Лучше бы Он меня совсем не вел, чем так покинул!» — думает человек и чувствует себя еще более отверженным, одиноким и погибающим, чем до «обращения» к Богу.

Все эти муки Паскаль хотел заглушить математикой и для этого снова принялся за прерванный пятнадцать лет назад «Опыт о конических сечениях». Но тщетно: никогда еще не говорил он себе с таким отчаянием, как в эти дни: «Все, что не Бог, не может меня утолить», и никогда еще наука не казалась ему такой бессильной наполнить бесконечную пустоту сердца его.

«В эти дни он бывал у меня так часто и подолгу, что, казалось, не было у меня другого дела, кроме этого, — вспоминает Жаккелина. — Но я только следовала за ним, не убеждая его ни в чем, и видела, что он возрастает в душе так, что я не узнавала его... особенно в смирении, в покорности и в желании быть уничтоженным в человеческом почете и памяти». [141] Жаккелина радовалась за него, потому что знала, что казавшееся ему гибелью было для него, на самом деле, единственным путем к спасению.

Однажды катался он по Нейлинским рощам в карете, должно быть, герцога Роаннеца, на шестерке молодых горячих лошадей, когда две пристяжные, закусив удила и съехав на мост, где не было перил, кинулись в воду, а карета повисла на самом краю моста и, если бы вожжи не оборвались, то упала бы в воду. [142] Чудом только спасся Паскаль.

«После этого несчастного случая он лишился рассудка», — скажет Вольтер, что, конечно, неправда. Но очень возможно, что бывшая всегда у Паскаля «боязнь пространства» после этого несчастного случая действительно усилилась. [143] «В пропасть люди беспечно бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти». К этому страху метафизическому прибавился теперь и страх физический.

«Чудилась ему всегда с левой стороны бездна, и он туда ставил стул, чтобы от нее закрыться... Сколько бы ни говорили ему друзья, что бояться нечего, — он хотя и соглашался с ними, но через несколько минут снова видел бездну», — вспоминает аббат Буало. [144]

Если оба эти свидетельства — Вольтера и Буало — только легенды, то, может быть, все-таки не внешняя, а внутренняя правда есть и в них, так же как в легенде о клермонтской колдунье, «сглазившей» Паскаля в младенчестве: бывшая у него тогда «боязнь воды» — глубины — становится теперь «ужасом бездны». «Вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает». [145]

Кажется иногда, что у Паскаля совсем иное, чем у других людей, ощущение пространства — как бы иная, не Евклидова, не земная геометрия, зависящая, может быть, от иного строения не только души, но и тела. Этот первый физический опыт есть для него источник и всех последующих опытов метафизических. «Истинному самопознанию научится лишь тот, кто увидит себя между бесконечностью и ничтожеством пространства, между бесконечностью и ничтожеством числа, между бесконечностью и ничтожеством движения, между бесконечностью и ничтожеством времени». [146] «Все от нас бежит в вечном бегстве, не останавливаясь: таково естественное состояние человека, хотя и наиболее противное тому, чего он желает, — найти что-нибудь незыблально твердое, чтобы построить на этом основании бесконечно ввысь уходящую башню. Но всякое основание рушится под ним, и земля у ног его зияет до преисподней». [147]

Была с Паскалем бездна неразлучна.
Ах! бездна все — дела, слова, желанья, сны,
И часто дыбом волосы на голове,
Я чувствую, от ужаса встают.

Вверху, внизу, везде – зияющая пропасть,
Молчание, провал и пустота...
На тьме моих ночей свой бред многообразный
И непрерывный чертит Божий перст.
И сон меня, как черная дыра,
Неведомо куда ведущая, пугает...
Из каждого окна я вижу бесконечность.
И в головокруженье, мысль моя
Небытия бесчувственного жаждет.
О, никогда из чисел и Существ не выйти! [148]

12

21 ноября 1654 года праздновалось в Пор-Руаяль-на-Полях Введение во храм Пресвятой Богородицы. Паскаль с Жаккелиной беседовали в приемной, когда из церкви послышался уныло дребезжащий, как бы самого себя стыдившийся, колокол. Кальвин отменил колокол совсем, а ученики его, янсенисты, только на три четверти.

Жаккелина пошла в церковь, а Паскаль остался в приемной, чувствуя такую бесконечную слабость в душе и в теле, что лечь бы, казалось, на пол, закрыть глаза и лежать, пока люди не придут и не унесут его, как мертвое тело. Но колокол дребезжал так назойливо, что он встал и тоже поплелся в церковь. Здесь уже стоял на кафедре священник, проповедуя что-то о покаянии – все общие места. Но вдруг Паскаль прислушался и подумал: «А ведь это он обо мне говорит, может быть, не случайно...» И еще подумал: «Бог ведет человека за руку и вдруг покидает его, как мать, которая учит ребенка ходить: так, может быть, Он и меня покинул не совсем, а только на время? – спросил он себя и ответил: – Нет, совсем! Боже мой, Боже мой, найди раба Твоего!» – повторял безнадежно, чувствуя, что покинут Богом так, как еще никогда. [149]

13

Где-то, очень далеко, на колокольне пробило двенадцать. Пламя догоревшей свечи на столе ярко вспыхнуло в последний раз и потухло. Лунный луч из окна, сквозь голые ветки деревьев, скользнув по ковру на стене, осветил Архимеда с длинной, седой бородой, говорившего молодому, грубому воину: «Циркулей моих не тронь!» – потом, крадучись по столу, заблестел на ртутных столбиках в стеклянных трубках и на медных колесиках старой счетной машины, между «Опытами» Монтеня, «Руководством» Эпиктета и Святым Писанием в том французском переводе Лефевра д'Этапля (Lefevre d'Etaples), по которому в детстве учился Кальвин, учились и все Гугеноты, люди «новой евангельской веры». [150] Потом заискрился на золотой рукояти рапиры, подвешенной у стены над широкополой черной шляпой с белыми перьями и над шелковым камзолом с бантом из огненно-ярких лент; и, наконец, упал на человека, лежавшего ничком на полу, как будто бездыханного. Если бы жильберта, войдя в комнату, увидела брата, лежавшего на полу, то подумала бы, что у него такой же припадок, как тогда, когда отнялись ноги. А если бы он поднял лицо, озаренное тем страшным светом, какой бывает иногда у людей, сходящих с ума или умирающих, то испугалась бы еще больше. Но если бы этот свет Жаккелина увидела, то не испугалась бы, а поняла бы сразу, что это тот «Свет с неба, превосходящий солнечное сияние», который озарил ап. Павла на пути в Дамаск.

Медленно поднял Паскаль озаренное тем страшным светом лицо, медленно встал, шатаясь, как пьяный, подошел к столу и опустился в кресло. Долго не мог понять, что с ним было. Вдруг, увидев на столе открытое и как будто не лунным, а каким-то чудесным, внутренним светом озаренное Евангелие, прочел:

Отче Праведный! и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя (Иоанн, 17:25), – и понял – вспомнил все. «Это был Он, Он Сам!» – подумал с радостным ужасом. «Часто являлся Он великим Святым, в Церкви, но в миру, таким грешным людям, как я, – еще никогда!» Вспомнил двух учеников на пути в Эммаус:

Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами?» (Лука, 24:31-32). Выбил огня и зажег другую свечу; хотел записать все, что видел и слышал, но не мог, потому что руки слишком дрожали. Решил потом записать все на пергаменте и зашить в подкладку одежды эту «Памятную Запись», «Мемориал», чтобы носить его до смерти, как величайшую святыню, а сейчас только вспомнить и затвердить все наизусть.

Вот что вспомнил и потом записал на тонком листе, под неумело и тщательно, как в жалобных детских рисунках, выведенным крестиком в лучах:

В 1654 году, 24 ноября, в понедельник, в память св. Клиmenta Мученика...
От половины одиннадцатого до половины первого ночи.
Огонь
«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова», а не ученых и философов.
Достоверность, достоверность. Радость. Мир.
Бог Иисуса Христа. «Восхожу я к Богу Моему и Богу вашему».
«Твой Бог будет моим Богом».
Забвение мира и всего, кроме Бога.
Бога нельзя найти иным путем, кроме того, которому учит Евангелие. Величие души человеческой.
«Отче праведный! и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя».
Радость, радость, радость; слезы радости.
Я от Него отдался. «Покинули Меня источники вод живых».
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
да не буду я оставлен Им никогда.
«Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою, Иисуса Христа».
Иисус Христос.
Иисус Христос.
Я от Него отдался; я бежал от Него, отрекся; я распял Его.
да не буду я от Него отделен никогда.
Он сохраняется людьми только так, как учит Евангелие.
Сладостное отречение и совершенное.
Совершенная покорность Иисусу Христу и духовнику моему.
Вечная радость за один только день земного испытания.
да не забуду я слов Твоих, Боже мой. Аминь. [151]

14

7 января 1655 года, в Крещение, Паскаль уехал с герцогом де Люинь в Пор-Руаяль-на-Полях и поселился сначала в соседнем с обителью замке его, Вомюрье (Vauvurier), а потом, чувствуя, что не найдет здесь такого уединения, какого хотелось ему, переехал в одну из келий, хотя и вне ограды монастыря, но как можно ближе к нему.

Строго соблюдая все монашеские правила, вставал в шесть утра, выстаивал все церковные службы, постился и бодрствовал, наперекор советам врачей, и, чувствуя себя здоровее, чем когда-либо, говорил, что «здоровье не только духовное, но и телесное, зависит не от Гиппократа, а от Иисуса Христа». Радовался, что есть из глиняной посуды деревянной ложкой, и говорил, что она «для него драгоценнее золота» и что он «живет в монастыре, как царь, хотя и по уставу св. Бернарда». [152]

«Люди меня поздравляют за тот великий пыл благочестия, который так возвышает вас над всем, что вы считаете метлу бесполезным предметом, – писала ему Жаккелина. – Но все-таки вам следовало бы несколько месяцев прожить в чистоте... чтобы после этого людям послужило на пользу видеть вас в грязи, если в этом заключается совершенство, в чем я сомневаюсь, потому что св. Бернард этого вовсе не думал». [153]

В уединении святой обители Паскаль начал писать «Опыт о духе геометрии», где яснее, чем когда-либо, предчувствует возможность соединения веры с познанием: «Если дела человеческие надо знать, чтобы любить, то дела Божии, наоборот, надо любить, чтобы знать... вот почему Бог изливает свой свет в человеческий разум, только усмирив восстание воли в человеке небесной тишиной своей, которая чарует его и привлекает к себе». [154]

В этих ученых трудах Паскаля никакого зла не видели великие вожди Пор-Руаяля, а Жаккелина увидела. Если в том письме о «бесполезности метлы» она только смеется над братом, то в другом письме, о «суете науки», она осторегает его: «Я не могу понять, как духовник ваш соглашается на покаяние такого веселого грешника, как вы, который удостаивает заменить пустые удовольствия света несколько более разумными и дозволенными играми ума... вместо того, чтобы искупать грехи свои непрерывными слезами... Я полагаю, что вы заслуживали бы еще некоторое время помучиться от смрада той помойной ямы, в которую вы некогда погружались с таким наслаждением». [155]

Радовались «эти господа Пор-Руаяля», что в сети их попалась такая большая рыба, как знаменитый на весь мир ученый, «второй Архимед», Паскаль. Но с радостью их смешивался тайный страх, как бы эта слишком большая рыба не прорвала их сетей. «Кто он такой и зачем к нам пришел?» – спрашивали, может быть, многие из них, вглядываясь в это загадочное, чужое, потому что слишком для них мирское, лицо. Мать Агнесса и мать Анжелика, сколько ни старались, не могли забыть, что он только что хотел жениться, чтобы жить, как все грешные люди живут в миру, и вот уже хочет быть святым. Может быть, все еще казалось им, что «для такого человека, как он, чуда Благодати ждать нельзя». И даже сестра Евфимия, бывшая в эти дни «духовником» его, смотрела на него иногда подозрительно, не понимая, почему он живет как бы «в великом страхе, чтобы люди не узнали, что он бежал в Пор-Руаяль», и почему не может выбрать себе настоящего духовника, а когда уже выбрал аббата Сенглэна и готов был «отдаться ему, как послушное дитя», – почему тот отказался от него, как будто вдруг испугавшись чего-то, и передал его другому духовнику, аббату де Саси (Sasi). Все это было непонятно, может быть, не только сестре Евфимии, но и самому Паскалю.

«Да не буду я от Него отделен никогда» – одно из двух повелений, услышанных им в ту ночь Огня, из уст самого Христа, а другое: «Совершенная покорность духовнику». Может быть, он не хотел «отделить» себя третьим лицом, духовником, от Христа, но и нарушить Его повеление тоже не хотел, а как согласовать эти противоречия, не знал. Если так, то здесь уже вставал для него тот вопрос, которому суждено было сделаться его последней мукой, что от чего – Христос от Церкви, или Церковь от Христа? Этого вопроса Жаккелина тогда еще не слышала, но и ей суждено было услышать его и большую муку принять, чем ему.

15

Может быть, для «испытания» Паскаля назначена была, в начале января 1655 года, философская беседа его с аббатом де Саси.

В этот морозный день, когда только что выпавший снег искрился на солнце ослепительно и деревья, увешанные инеем, белели на безоблачно голубом небе, собрались отцы-пустынники и «Матери Церкви», как называли пор-руаяльских игумений, мать Анжелику и мать Агнессу, в келью к новому брату, где горел веселый огонь в камине. Ноказалось, никакой огонь не мог бы согреть «этых господ Пор-Руаяля» от внутреннего холода.

Как опытный духовник аббат де Саси умел вызывать людей на откровенную беседу, говоря с ними о том, что занимало их больше всего. Так же поступил он и теперь. С бледной, на бледном, тонком и длинном лице, улыбкой, такой же робкой, как луч зимнего солнца, он спросил Паскаля, каких философов он любит больше всего, и когда тот ответил, что Эпиктета и Монтеня, то сразу все насторожились, потому что увидели, что на ловца и зверь бежит, и надеялись, что он выдаст им себя с головой. Так и случилось.

«Смею признаться, – начал он, – что я обоготовил бы Эпиктета, если бы он не думал, в дьявольской гордыне своей, что человек может сделаться равным Богу... Что же касается Монтеня... то он низводит человека ниже скотов...»

И он продолжал сравнение этих двух философов, одинаково великих и несовершенных, потому что один, зная силу человека и его величие, но не зная немощи его и ничтожества, возносит его до божества, а другой, зная ничтожество его, но не зная величия, унижает его до скотства.

«Я очень вам благодарен за то, что вы так хорошо объяснили мне Монтеня, – ответил де Саси. – Я не сомневаюсь, что Монтень был человеком большого ума, но я не уверен в том, что вы все-таки не сделали его умнее, чем он был на самом деле».

Что-то здесь угадал де Саси так верно и глубоко в самом Паскале, что некогда и тот вынужден будет согласиться с этим: «Все, что я нахожу в Монтене, я вижу в самом себе, а не в нем».[156]

Соблюдая вежливость, а может быть, и спохватившись, что говорит с духовником своим, Паскаль все же не останавливается вовремя в увлечении спора и попадается в ловко расставленную ему западню.

«Я не могу не радоваться, что гордый человеческий разум в Монтене так

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

постыдно низложен своим же собственным оружием, и что человек, в кровавом восстании на самого себя, так жалко побежден и от природы Божеской, до которой он хотел вознестись, низвержен до природы скотов... Но, так как Эпиктет заблуждается именно там, где Монтень идет по верному пути, то, казалось бы, соединив их, можно получить нечто совершенное... Этого, однако, сделать нельзя... потому что один из них утверждает бесконечное сомнение, а другой – достоверность, столь же бесконечную; один – силу человека, а другой – слабость его... Так что, уничтожая друг друга во лжи и в истине, оба они уготовляют место Евангелию, где все противоречия согласуются в Божественной Истине...»

Вдруг остановился, должно быть, заметив по лицу собеседника, что он ничего не понимает. Кто в эту минуту взгляделся бы в лица всех этих ученых и умных людей, тот, может быть, понял бы, что Паскаль был среди них, как орел в курятнике, и что бедного де Саси так же, как некогда о. Сент-Анжа, орел заклюет.

«Очень прошу меня извинить, отец мой, что я так увлекся и, вместо того, чтобы оставаться в пределах философии, заговорил о теологии», – начал Паскаль уже другим голосом, должно быть, опять спохватившись, что имеет дело с духовником своим.

«Я, признаюсь, удивлен тем оборотом, какой вы сумели придать нашей беседе, – ответил де Саси, переглянувшись с остальными слушателями и поняв по их лицам, что пора кончать беседу. – Вы похожи на тех искусственных врачей, которые, смешивая опаснейшие яды, изготавливают спасительнейшие лекарства... Но я боюсь, что очень немногие сумеют, подобно вам, найти жемчужины в смрадном навозе этих двух философов. Вот почему я посоветовал бы христианам не читать их вовсе, чтобы не сделаться, вместе с ними, добычей дьявола». [157]

Жадно слушала Паскаля сестра Евфимия и вся молодела, хорошела так, что как будто снова делалась той маленькой девочкой, которая, больше чем любила брата, – была в него влюблена. О, какими вдруг чужими и далекими показались ей все эти господа Пор-Руаяля, которые ни на каком огне не могли бы оттаить! Шел теперь уже не он за нею, как всегда, а она за ним, и с какою радостью пошла бы за него на всякую муку и даже на смерть! «Вы превзойдете всех великих людей древних и новых веков», – под этими словами врача Бурдело, может быть, и она подписалась бы в эту минуту.

Часто во время беседы взглядал он на нее, как будто говорил только для нее одной, и она невольно опускала глаза, краснея, в самом деле, как влюбленная девочка. Вдруг испугалась, что он это знает, и не ошиблась. «В каждом сердце есть место, ожидающее любви», – может быть, вспомнил он «Речь о любовных страстиах» и подумал, что в сердце его это место всегда ожидало ее, ее одной, Жаккелины. Знал, что такую любовь брата к сестре люди сочли бы великим грехом, но знал и то, что не было для него ни на земле, ни на небе ничего свящееней этой любви.

16

Два ничтожных события, которые могли иметь великие последствия, произошли в эти дни. Первое событие – исповедь герцога де Лианкур (Liancourt) приходскому священнику, отцу Пикотэ. Кончив исповедь, герцог ждал отпущения грехов, но священник дать его отказался, потому что Лианкур будто бы скрыл от него два своих главных греха – то, что приютил в своем доме больного, старого янсенистского священника, и то, что отдал внучку в Пор-Руаяльскую школу. Герцог, не захотев каяться в этих грехах, так и ушел без отпущения, о чем не преминул сообщить господам Пор-Руаяля, и что сделалось тотчас же известным, как в Версале, так и в Париже. [158]

Второе событие – возобновившееся дело о пяти осужденных тезисах Янсения (главный из них был о том, что «Христос умер не за всех людей, а только за избранных»). Доктор Сорбонны, столп Пор-Руаяля и духовный наследник Янсения, Антуан д'Арно Младший, выступил в защиту этих тезисов, но так неудачно, что и сам был осужден за ересь. [159] После осуждения обратился он с письмами уже не к сорбоннским теологам, а к простым верующим людям. Но написанные тяжелым и для простых людей непонятным языком, письма эти не имели никакого действия. Когда однажды зашла об этом речь у господ Пор-Руаяля, то Арно неожиданно сказал присутствовавшему на этом собрании Паскалю: «Вы, молодой человек, должны были бы что-нибудь сделать!»

И может быть, так же для самого себя неожиданно, Паскаль согласился сделать опыт и когда на следующий день прочел написанное, то все восхитились, и Арно воскликнул: «Это превосходно, это понравится всем!»[160]

Этюю-то мерой превосходства – жалкою мерою всех – Арно и соблазнил Паскаля.

23 января 1656 года появилось на пяти страницах *in quarto*. «Первое письмо Луи де Монтальта к одному из его друзей, провинциальному, о споре, происходящем ныне в Сорбонне», а за этим первым письмом последовало, с небольшими промежутками, семнадцать других. Новый, не книжный, а разговорный и для всех понятный язык этих писем пленял простотою, изяществом и любезностью светского, благородного человека (*honnête*), в таких свойствах его, которым научился Паскаль в школе де Марэ и Митона.[161] Луи де Монтальт описывает другу своему, провинциальному, свои похождения среди ученых иезуитов, доминиканцев, томистов (учеников св. Фомы Аквинского) и других участников спора, у которых он старался узнать о существе этого богословского спора. Главное очарование «Писем» заключалось в том, что они не только поучали, но и веселили. Слышились в них живые голоса, и проходили живые человеческие лица, как разноцветные тени от волшебного фонаря на белой стене.

С первых же «Писем» успех превзошел все ожидания. У канцлера Сегье едва не сделался при чтении их удар от волнения, и ему должны были в течение одних суток семь раз пускать кровь.[162] Владелец книжной лавки, где продавались «Письма», был схвачен, и типографские станки его запечатаны.[163]

Этот небывалый успех был тем удивительней, что спор шел об отвлеченнейшей богословской метафизике. Между янсенистами, утверждавшими «Благодать достаточную» (*gratia sufficiens*), и противниками их, утверждавшими «Благодать действующую» или «совершающую» (*gratia efficax*), различие было так тонко, что для самих спорщиков было почти неуловимо.[164]

«Значит ли это, отец мой, что все люди имеют Благодать достаточную, но не все – совершающую?» – спрашивал Монтальт одного доминиканца после долгих и терпеливых его объяснений.

«Да, вы верно поняли», – отвечает тот.

«Но если так, то о чем же вы думали, называя „достаточной“ ту Благодать, которая может оказаться недостаточной, потому что „несовершенной“?» – спросил я тихо, чтобы его успокоить.

«Вам хорошо говорить, – ответил он. – Вы – частное лицо и человек свободный, а я – монах... Все мы зависим от наших начальников, а те – от своих. Наши голоса ими обещаны. Что же мне делать? Это значит: вся нелепость этого спора зависит от главного начальника, Папы».

«Плохо же, отец мой, Братство ваше хранит вверенный ему залог той Благодати, которую даровал людям Христос!» – воскликнул присутствовавший при нашей беседе мой друг, янсенист. «Видно, наступает время для того, чтобы Господь вооружил на защиту дела своего других, более бесстрашных бойцов... Подумайте же об этом, отец мой, и остегайтесь, как бы Господь не сдвинул с места вашего светильника и не покинул вас во мраке, чтобы наказать за ту робость, с какой вы боретесь за столь великое для Церкви дело!»[165]

Так Братству св. Доминика, столпу Церкви, устами янсениста, простой мирянин Паскаль дает незабываемый урок. Жалким и смешным делает он в глазах всех «честных людей» этого доминиканца с его «Благодатью, достаточной и недостаточной» вместе. Но так ли прав был Паскаль, как этоказалось ему и всем, кто им восхищался? Людям так свойственно желать победы для самих себя, что когда это желание прикрывается другим, может быть мнимым, чтобы победила истина, то слишком часто эти два желания смешиваются. Кажется, такое же смешение происходит и в Паскале.

Третье «Письмо» он подписывает первыми буквами полного имени своего: В. Р. A. F. E. P. – Blaise Pascal, Auvergnat, fils d'Etienne Pascal. Стоило бы только врагам его, иезуитам, немного пристальней взглянуться в эти буквы, чтобы узнать, кто сочинитель «Писем». Трудно поверить, что они этого не сделали за те четырнадцать месяцев, в течение которых появлялись «Письма». «Вы не думали, что люди будут любопытствовать, кто мы такие, – пишет он провинциальному, – а между тем кое-кому очень хотелось бы это узнать, но это им

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

не удается. Одни думают, что я – доктор Сорбонны, другие – что одно из четырех или пяти лиц, так же не духовных, как я. Все эти ложные подозрения убеждают меня, что я недурно достиг моей цели, – чтобы только вы, да еще добрый отец (иезуит), который страдает от моих посещений, и от чьих речей я тоже страдаю, – знали, кто я такой». [166]

Прячется Паскаль под ложным именем, как под шапкой-невидимкой или опущенным забралом таинственного рыцаря Луи де Монтальта, и враги его не знают, откуда сыплются на них удары, а он только смеется и играет, как дитя в той «небесной тишине», о которой писал в «Опыте о духе геометрии».

«Я ни на что не надеюсь от мира и ничего не боюсь... Вот почему, сколько бы вы меня ни ловили, – не поймаете... Может быть, вы никогда не имели дела с человеком более для вас неуловимым, потому что более свободным, чем я». [167]

Что такое свобода человека пред лицом Божиим – добро или зло, – вот великий предмет этого, как будто ничтожного, спора о Благодати, действующей помимо человеческой воли, или вместе с нею. Янсенисты говорят «помимо», а иезуиты и доминиканцы – «вместе», но все говорят или когда-то говорили, и снова, может быть, заговорят из глубины сердца, с мукой и с искренним желанием найти истину. Грех Паскаля заключается в том, что он над этой мукой смеется в угоду тем, кто никогда этим не мучился и не искал истины. Если враги называют его «маленьkim шутом», то это, конечно, лишь грубая и бессильная брань; но когда они говорят: «Письма эти не могли быть написаны кающимся, плачущим грешником у подножия Креста», то, может быть, ему следовало бы над этим задуматься. «Даруй мне, Господи, силу пострадать за истину Твою даже до смерти!» – молился Арно. Мог ли бы Паскаль, тотчас после того легкого смеха, так же молиться? [168] «Там, где речь идет о святом, не должно смеяться», – говорят ему янсенисты так же, как иезуиты. [169] «Есть большая разница между смехом верующих и смехом кощунствующих», – оправдывается Паскаль, но, может быть, смутно чувствует, что оправдаться ему не так-то легко. «Не сам ли Бог говорит: „Посмеюсь вашей гибели?“ Бог до того ненавидит грешников, что и в смертный час их прибавляет насмешку к яности своей, осуждающей их на вечные муки». [170] Бог, яростно смеющийся над вечными муками грешников, – кажется, дальше и Кальвин не уходил от Евангелия. Вот какою судорогой неземного смеха или неземного ужаса вдруг искажается слишком по-земному смеющееся лицо Монтальта-Паскаля.

17

Все это время он жил под именем де Монса (Mons), в скромной и тихой гостинице под вывеской «Царя Давида» на улице Пуаре, против Иезуитской Школы – в самом логове врагов своих, потому что меньше всего иезуиты могли думать, что он так близко от них.

Как-то раз один из них, родственник Флорена Перье, жившего тогда в той же гостинице, зайдя к нему и случайно заговорив о «Письмах», сказал: «Имея честь принадлежать к вашему семейству, я почитаю долгом предупредить вас, что Иисусово Общество уверено, что сочинитель „Писем“ – не кто иной, как шурин ваш, господин Паскаль. Скажите ему об этом и посоветуйте прекратить эту игру, чтобы не случилось беды». «Очень благодарю вас, отец мой, за добрый совет, – ответил Перье, – но думаю, что говорить ему об этом бесполезно, потому что он ответит, что „Общество ваше ему не поверит, сколько бы ни уверял он, что сочинитель „Писем“ – не он“». В той самой комнате, где происходила эта беседа, сушились только что отпечатанные и разложенные на постели, в двух шагах от гостя, листы восемнадцатого «Письма». К счастью, занавеска над постелью была немного опущена, и гость не поглядел в ту сторону. Только что он вышел из комнаты, Перье побежал к Паскалю, жившему как раз над этой комнатой, рассказал ему о том, что случилось, и долго смеялись они, как школьники, удачной шалости. [171] Знал, конечно, Паскаль, что если бы занавеска над постелью была чуть-чуть поменьше опущена, то ему не сносить бы головы своей; но упоение борьбы заглушало в нем страх.

Только с шестого «Письма» начинается смертный поединок Монтальта с Иисусовым Обществом. «Я до сих пор только играл и скорее показывал, какие раны мог бы наносить, чем действительно их наносил», – осторегает он врагов. [172] Главная твердыня их – то «учение о вероятностях», пробабилизм, которое не могло не напоминать Паскалю его же собственного великого открытия – математическую теорию вероятностей – Геометрию Случая (aleae

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

geometria).[173] Иезуиты изобрали это учение, потому что оно соответствовало их главной цели – открыть для наибольшего числа верующих наиболее широкий и легкий путь спасения, сделать его мягким, «бархатным». «Люди в наши дни так порочны, что мы не можем привлечь их к себе и должны сами к ним идти... потому что главная цель нашего Общества – никого не отталкивать, чтобы не доводить людей до отчаяния». «Мы простираем объятья ко всем». «Миром хотят они овладеть, управляя человеческой совестью».[174] В случаях для нее сомнительных духовники-иезуиты довольствуются решением кого-либо из великих или, как они выражаются, «важных докторов богословия» (doctor gravis), полагая, что такое решение обладает достаточной степенью вероятности, чтобы верующие могли следовать за ним с безопасностью, если бы даже совесть осуждала их за то.[175] Вот почему, как неизбежное логическое следствие из «учения о вероятностях», вытекает учение о том, как применять общие нравственные правила к частным случаям совести, – казуистика (от слова casus, «случай»). «Людям угрожают казуисты, разрешая дела, и служат Богу, очищая намерения».[176]

«Двадцать четыре старца Апокалипсиса суть двадцать четыре великих казуиста Иисусова Общества», – учит испанский иезуит Эскобар. «Должен ли поститься человек, уставший от игры в мяч или от преследования женщин легкого поведения?» – спрашивает Эскобар. «Должен», – отвечают одни из двадцати четырех великих старцев казуистов, старцев Апокалипсиса. «Не должен», – отвечают другие. И люди могут следовать за теми, кто им больше нравится.[177]

«Может ли скидывать рясу монах, не боясь отлучения, и если может, то в каких случаях? – спрашивают казуисты и отвечают: – В тех случаях, если он хочет сделать что-либо постыдное, как, например, смешничать или пойти в дом терпимости» (ut furetur occulte, vel eat incognitas ad lupanar).[178]

«Наши богословы нашли способ разрешать убийство в поединке, – хвалится добный отец-иезуит в беседе с Монтальтом. – Для этого стоит только перенести внимание от запрещенного желания мести на дозволенное желание защитить свою честь». Сын может желать смерти ненавистному отцу, если опять-таки перенесет внимание от запрещенного чувства ненависти на дозволенное желание получить наследство.[179]

«Нельзя убивать за что-нибудь имеющее малую цену, как, например, за яблоко; но если потерять его постыдно для чести, то убить можно, потому что в таком случае убийство совершается не ради яблока, а ради чести».[180]

«О, мой отец, слышать нельзя без ужаса того, что вы говорите», – восклицает Монтальт. «Это не я говорю», – оправдывается иезуит. «Знаю, что не вы, но все эти гнусности внушают вам не отвращение и ненависть, а уважение... Вы не только разрешаете людям проливать человеческую кровь, но и учите их, что Кровь Господня пролита на Голгофе, чтобы людям позволить не любить Бога... Откройте же глаза, отец мой, – тайна беззакония уже совершается». «О, если бы это ужасное учение (казуистов) никогда не выходило из ада, и дьявол, первый учитель его, никогда не находил столь преданных ему людей, чтобы проповедывать его христианам!»[181]

18

24 марта 1656 года совершилось чудо св. Терна.

От одного янсенистского священника, усердного почитателя древних святынь, собравшего множество их в особой часовне своей, Пор-Руаяльская обитель в Париже получила на время Пресвятой Терн от Венца Господня. Выставив его в хрустально-золотом ковчежце, на алтаре, убранном цветами и множеством свечей, сестры начали поклоняться святыне, а затем подводить к ней на поклонение воспитывавшихся в Пор-Руаяльской школе детей. Подвели и племянницу Паскаля, Маргариту Перье, десятилетнюю девочку, страдавшую такой глубокой язвой в глазу, что все врачи отказались ее лечить.

«Терну помолись, чтобы глаз не болел», – шепнула ей на ухо сестра и прикоснулась ковчежцем к больному глазу в ту самую минуту, когда пели псалом:

Сотвори, Господи, знамение Твое во благо.

Так сделала сестра и тотчас же забыла об этом, должно быть, потому что сама

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

не слишком верила в чудо исцеления. Но в тот же день вечером девочка, случайно увидев ее, подошла к ней и сказала так просто, как о самом обыкновенном деле: «А глаз мой уже не болит!»

И, взглянув на нее, сестра не могла отличить больного глаза от здорового.

Слух о чуде прошел по всему Парижу, и чудесные исцеления начали совершаться над множеством больных, стекавшихся в обитель.

«Если бы Терн перенести в одну из гугенотских церквей, то он и там сотворил бы не меньше чудес», – говорили враги янсенистов, которых считали такими же «еретиками», как гугенотов-кальвинистов; но когда увидели, что вне Пор-Руаяльской обители Терн чудес не творит, то должны были умолкнуть, тем более что многие врачи и даже сам парижский архиепископ признали чудо, совершенное над Маргаритой Перье, действительным.[182]

За несколько дней до чуда какой-то вольнодумец, может быть рыцарь де Мэрэ или Митон, говорил Паскалю, что, судя по тому, что происходит в Церкви, нет Промысла Божия.

«Вы думаете? А я не сомневаюсь, что Господь сотворит чудо в Церкви и даже очень скоро!» – ответил Паскаль. Как он сказал, так и сделалось. «Бог, казалось, даровал это чудо не только молитвам Пор-Руаяльской обители, но и вере Паскаля», – вспоминает янсенистский летописец тех дней.[183] Исцеленная девочка была племянница Паскаля по крови, а по духу дочь его – крестница: не было ли это явным знаком того, что сам Бог благословил его на борьбу за Церковь? «Так же как сделал Господь этим чудом нашу семью счастливейшей, да сделает Он ее и благороднейшей», – говорит Паскаль в одном из уцелевших в «Мыслях» черновых набросков для «Писем».

Между двумя чудесами – тем, 23 ноября 1654 года, и этим, 24 марта 1656 года, – есть внутренняя связь: если «Огонь» «Мемориала» – тайное чудо, для одного Паскаля, то исцеление крестницы его – явное чудо, для всех.

«Бедных монахинь Пор-Руаяля уверяли, что их ведут на вечную погибель, в Женеву (к Кальвину)... Но знали они, что это клевета. Что же происходит потом? То самое место, о котором им говорили, что оно – капище дьявола, Бог делает храмом своим; и тех самых детей, о которых им говорили, что их надо отнять у них, – Бог исцеляет. Всеми карами небесными угрожали им, а Бог осыпал их всеми дарами своими. Надо быть сумасшедшим, чтобы из всего этого заключить, что их, в самом деле, вели на вечную погибель».[184] Это говорит Паскаль в другом черновом наброске для «Писем»; то же говорит и в них: «Лютые и подлые гонители, суждено ли и уединеннейшим пустыням не быть достаточным убежищем от ваших клевет? Вы клевещете на тех, у кого нет ни ушей, чтобы слышать вас, ни уст, чтобы вам отвечать. Но Бог слышит вас и отвечает за тех тем святым и страшным голосом, который изумляет природу и утешает Церковь, – чудом Св. Терна. И я боюсь, отцы мои, как бы те, кто ожесточил сердце свое так, чтобы не слышать этого голоса здесь, на земле, не услышали его никогда в вечности».[185]

Чудо Св. Терна поставило перед Паскалем общий вопрос: что от чего – вера от чуда, или чудо от веры? На этот вопрос он отвечает противоречиво. «Я не был бы христианином, без чудес», – говорит св. Августин, и Паскаль соглашается с ним или как будто соглашается: «Не было бы греха в неверии, если бы Христос не творил чудес». «Церковь не имела бы никаких доказательств, если бы отрицатели чудес были правы».[186] Таков один ответ, а вот и другой. Прежде чем совершилось второе, живое и радостное чудо Св. Терна – исцеление Маргариты Перье, – должно было совершиться первое чудо, мертвое и скучное: та ветка Палестинского терна, из которой воины Пилата сплели венец для «потешного Царя Иудейского», должна была сохраниться нетленной в течение шестнадцати веков. Трудно себе представить, чтобы Паскаль, с его бесконечно глубоким чувством действительности, мог не «насильно» верить в такое чудо. Очень вероятно, что он не смущился, когда вольнодумцы смеялись: «Пять мнимых врачей засвидетельствовали чудо: вот люди, способные к такому свидетельству, – ряженые лакеи-невежды!»[187] Но еще вероятнее, что он мог бы смутиться от вопроса: почему Св. Терн более действительная святыня, чем такие кощунственные обманы простых людей, как зуб Св. Иоанна Крестителя или молоко Пресвятой Девы Марии?

«Чудо, – говорят, – утверждает веру». «Да, пока мы не видим его, а если видим и не хотим его, то мы легко находим причины, чтобы его отвергнуть», –

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org
скажет Паскаль в «Мыслях».[188] «Вы хорошо знаете, что никогда не надо ждать чудес», – сказала однажды мать Анжелика сестре Евфимии.[189] С этим мог бы согласиться и Паскаль, в те высшие минуты религиозного опыта, когда он понимал, что значит слово Господне:

Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие (Иоанн, 20:29).

19

«Письма» – отнюдь не самое великое из того, что сделал Паскаль, но, может быть, самое понятное людям, от его дней до наших. В «Письмах» продолжает он дело Лютера и Кальвина – всего Протестантства в первом и последнем, вечном смысле этого слова – святого Противления, Восстания человеческой истины на нечеловеческую ложь многих в Римской Церкви – в том числе и тех, кто прикрывался великим именем «Иисусова Общества».

«Истину не сделали иезуиты сомнительной, но сделали свое нечестие несомненным». «Церковь растлевают они, чтобы самим казаться святыми», – говорит Паскаль, и хорошо, что люди это поймут и запомнят, потому что иезуитское «учение о вероятностях», «пробабилизм», заглушая голос совести не только в отдельных людях, но и в целых народах, делает зло добром и добро злом.

«Спрашивают меня, не раскаиваюсь ли я, что сочинил „Письма“... Нет, не раскаиваюсь, и, если бы нужно было сочинить их снова, я сделал бы это еще сильнее», – говорит Паскаль, и от этих слов своих не отступил бы, даже если бы знал, что такие злые враги не его, а того, кто ему дороже, чем он сам, как Вольтер, будут с ним согласны.[190]

Иезуиты, если не родные, то крестные отцы того, что мы называем «Иезуитством», – лжи, коварства, ласкательства, пронырства, а может быть, и злодейства под сенью Креста. Дух Иезуитства – «дух, прелюбодействующий с Евангелием», – Паскаль верно почувствовал, как тлетворный дух, запах трупа, веет над всем христианством, и верно сказал: «Вынесите труп из дома!»[191]

Но если он думал, что уничтожил Иисусово Общество, то ошибался, потому что главное оружие этого Общества – казуистика – тронута им только в ее случайных и временных явлениях, а не в вечной метафизике. Кажется, великий иезуит, Эскобар, был святым человеком, и если правда, что его хотели предать суду Инквизиции за «чрезмерную суровость», то он пострадал от Паскаля невинно.[192]

Казуистика – только мертвая схоластическая маска на каком-то живом лице; в слове «казуистика» что-то самое внутреннее, тонкое названо самым внешним и грубым именем. Если под этим именем скрыто не что иное, как применение внешнего, безличного закона ко внутреннему, личному случаю совести, то казуистика всегда была и будет. Волей-неволей янсенисты были точно такими же казуистами, как иезуиты.

Когда Иисус говорил фарисеям о женщине, взятой в прелюбодеянии: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Иоанн, 8:7), то и это – Божественная Казуистика.

Если праведным судом надо судить людей не только по тому, что они сделали, но и по тому, чего они хотели, то, может быть, вопреки злой пословице, «добрими намерениями» можно путь вовсе не в ад, а в рай, Паскаль судит иезуитов не этим праведным судом. Иисусово Общество продолжает дело, начатое св. Фомой Аквинским и св. Франциском де Саль, и Церковь не отреклась от этого дела. Главная мысль св. Игнатия Лойолы – спасти всех – милосердна и, значит, ближе к Евангелию, чем жестокая мысль Лютера, Кальвина и Янсения – спасти только немногих, «избранных».

Иисусово Общество в XVII веке уже мертвое или кажется мертвым, но было и, может быть, снова будет живо, потому что христианство есть не что иное, как всегда возможное воскресение мертвых. Сколько бы отдельных лиц ни изменяло главной цели Иисусова Общества – завоевать мир под знаменем Христа, – само Общество, как целое, всегда было и будет верным этой святой цели.[193] Сам того не желая, Паскаль поможет созданию двух легенд – столь же противных действительности исторической, как и религиозной, – об иезуитском заговоре для завоевания мира под знаменем Антихриста и о «Великом Инквизиторе» (по Достоевскому): «Мы исправим подвиг Твой; мы не с Тобой, а с ним (с

Антихристом)».

Кажется, сам Паскаль предчувствовал, что победа его над Иисусовым Обществом не окончательна. «Больше всего должно исповедовать две противоположные истины в то время, когда одна из них отрицается; вот почему иезуиты так же не правы, как янсенисты, но все же эти еще более не правы, чем те, потому что иезуиты яснее исповедуют обе истины».[194] В этом суде Паскаля над янсенистами, а значит, и над самим собою, меньшее дело его – «Письма» – связано с большим – с величайшим из всех его открытий – «согласованием противоположностей» (*accorder les contraires*): «Только в Иисусе Христе все противоположности согласуются».[195]

20

В эти дни Паскаль обратил в янсенистскую веру двадцатирефлетнюю сестру герцога Роаннеца, Шарлотту (сам герцог уже давно был обращен). Судя по тому, что ее обращение оказалось непрочным и что, приняв в Пор-Руаяльской обители постриг, она через несколько лет покинула ее, Шарлотта не имела действительного призыва к монашеству, и молодая жизнь ее была бесполезно и жалко разбита Паскалем.[196] «Этому семейству внушал он такую ненависть, что одна служанка-привратница-хотела его заколоть кинжалом и для этого потихоньку, ночью, вошла к нему в комнату, но, к счастью, он случайно вышел из дома», – вспоминает Маргарита Перье.[197] Все «честные люди» (*honnêtes gens*) были в этом деле против Паскаля – «второго Тартюфа» и «первого Марата» вместе, так что незачем было бы иезуитам подкупать эту «первую Шарлотту Кордэ».

В ту минуту, когда Паскаль узнал, что едва не был убит кинжалом привратницы, смерть, может быть, взглянула ему в глаза так же близко, как на Нейлинском мосту, когда карета его повисла над пропастью.

Может быть, для того, чтобы избавиться от страха Бездны, он опять занялся геометрией.

«Однажды ночью, когда у него сильно болели зубы, так что он не мог заснуть, случайно пришла ему на ум мысль о рулетке (математическая задача циклоиды). За этой первой мыслью последовала вторая, третья, и, как бы невольно, сам тому удивляясь, он решил эту задачу», – вспоминает Жильберта Перье.[198] Кажется, «зубной болью» она его оправдывает в том, что и после своего «обращения» он все еще предается «суетной похоти знания». Мог бы и он сам привести в свое оправдание, что герцог Роаннец убеждает его, что, «собираясь писать „Апологию христианства“, он должен доказать безбожным исследователям циклоиды, что знает больше, чем они».[199]

«Линия циклоиды есть та кривая, которую описывает в своем вращательном движении спица колеса, когда оно катится, и спица сначала подымается от земли, а затем, в постоянном вращении, опять до земли опускается», – объясняет Паскаль эту труднейшую задачу математики.[200] «Точно внезапный свет меня озарил», – вспоминает Лейбниц о той минуте, когда он вдруг увидел в беглых заметках Паскаля о циклоиде возможность интегрального исчисления – «одной из путеводных вех в истории человеческой мысли», по слову д'Аламбера.[201]

Только что решив эту задачу, Паскаль объявляет состязание в ней всех великих европейских математиков, с наградой в сто червонцев первому, кто решит ее после него. «Если же в течение трех месяцев никто не решит, то мы обнародуем еще большие открытия, за которые потомство будет нам благодарно», – хвалится он, подписывая это воззвание именем «Амоса Детонвилля» – анаграммой «Луи де Монтальта», сочинителя «Писем». Совпадение имен не случайно: эти два лица под шапкой-невидимкой, на самом деле, не два, а одно, потому что их соединяет одна и та же «похоть знания» – «похоть превосходства».

Многие прислали решение задачи, но Паскаль ни одного из них не счел достойным награды, чем жестоко обидел всех принявших участие в состязании, так что поднялась жалкая свара великих из-за жалких грошей и самолюбий – как бы драка маленьких детей из-за дешевого лакомства. В сваре этой Паскаль защищает права свои с таким же смелым ожесточением, как некогда в деле о счетной машине. Кажется, впрочем, он скоро опомнился и, судя по письму его к великому геометру Ферма (Fermat), может быть, устыдился: «Я нахожу, что геометрия есть высшее упражнение ума, но вместе с тем такое бесполезное,

что я не вижу большого различия между искусственным ремесленником и великим геометром... Я и двух шагов не сделал бы сейчас для геометрии... Я так далек от нее, что едва помню, что она существует».[202] Это уже вечная разлука Паскаля с «похотью знания»: демон Геометрии отошел от него навсегда.

21

В «Письмах» почти все, что происходит в церкви, судится Паскалем согласно с тем разделением, которое внушил ему великий богослов Пор-Руаяль Арно, – с двух точек зрения и двух метафизических порядков – данного, действительного, бывшего, *de facto*, и должного, искомого, желанного, будущего, *de jure*. В этих именно двух порядках ведется весь богословский спор, сначала Арно с доктором Сорбонны, а затем – Паскаля с иезуитами, из-за пяти осужденных тезисов Янсения. Главная в этом споре ошибка у иезуитов и Паскаля – общая: замена внутреннего, живого языка веры внешним, мертвым языком права. В этом холастическом разделении – *de jure* и *de facto* – та же «казуистика», но уже не иезуитов, а янсенистов.

Очень неосторожно Паскаль подымет в последнем, восемнадцатом «Письме», по поводу осуждения Галилея Римскою Церковью, вопрос о папской непогрешимости. «Тщетно вынужден вами (иезуитами) приговор Церкви над Галилеем за его учение о том, что земля вокруг солнца вращается. Этим приговором не будет доказана неподвижность земли, потому что все усилия человеческие... не могли бы помешать ей вращаться, и людям вместе с нею. Не думайте также, чтобы отлучение от Церкви св. Виргилия папой Захарием за то, что он утверждал существование антиподов, – этот новый мир уничтожило и чтобы Испанский король дурно поступил, поверив больше Колумбу, вернувшемуся из этого мира, чем Папе, который никогда не был там».[203]

Против папской непогрешимости никто не говорил с такой неотразимой силой и математической ясностью, как это сказано. Но знает ли Паскаль, что вопрос о непогрешимости Папы не только *de jure*, но и *de facto* есть вопрос о самом существовании Римской Церкви? Если Папа непогрешим только *de jure* – в праве – в желанном, чаемом, будущем, – в Мистерии, а не *de facto* также – в данном, настоящем, действительном, – в истории, то Вселенской Церкви пока еще нет, – она только будет.

Все защитники папской непогрешимости могли бы спросить Паскаля: где и как совершается «тайна беззакония» – отступление Римской Церкви от Христа, – *de jure* или *de facto* – в будущем или в настоящем? Лютер и Кальвин ответили бы: «В настоящем». А как ответил бы Паскаль, неизвестно.

В 1658 году латинский перевод «Писем» осужден был Римскою Церковью, а через два года и королевской властью: «Книга, именуемая Людовика Монтальта „Письма к провинциальному“, да будет растерзана и сожжена рукой палача».[204] Очень вероятно, что если бы Паскаль жил поближе к Риму, то и его самого сожгли бы. Дымом костра пахнет и от него так же, как от Лютера и Кальвина.

После осуждения он начал было писать девятнадцатое «Письмо», но не кончил – точно голос его оборвался на полуслове,[205] – и он замолчал навсегда. Отчего – оттого ли, что огня испугался? Едва ли. Страх был, кажется, иной – вечный страх Бездны:

Была с Паскалем Бездна неразлучна.
Стулом от нее заслонялся, хотя бы только на четверть часа, и Церковью также, а едва выходил из нее, Бездна снова зияла:

Вверху, внизу, везде – зияющая пропасть,
Молчание, провал и пустота...

22

После чуда Св. Терна гонения на Пор-Руаяль затихают. «Кажется, благочестивая королева (Анна Австрийская) тронута была явным покровительством Божиим сестрам этой обители», – вспоминает Расин, бывший питомец Пор-Руаяльской школы. Благодаря тайному покровительству парижского архиепископа кардинала де Ретца (Retz) изгнанные отшельники могли вернуться в обитель. Но с 1660 года все внезапно меняется. В 1661 году Мазарини умирает, и ход событий ускоряется. Издан королевский указ о немедленном изгнании послушниц из обоих монастырей, Пор-Руаяля-на-Полях и в Париже. Старший духовник сестер, аббат Сенглэн, вынужден был бежать и прятаться. Но тайное покровительство де Ретца все еще действует. 19 июня объявлено

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

постановление главных викариев Парижского прихода об отречении сестер от пяти осужденных тезисов Янсения. Но возможность принятого янсенистами деления на «право» и «действительность» (*jus et factum*) сохранена в постановлении так искусно, что эта уступка янсенистам приписана была никому иному, как Паскалю.[206]

22 июня «клятвенное обещание» дано было сестрами, по совету Арно, Сенглэна и Паскаля, но «с великим плачем и терзающей мукой совести», потому что сестрам, плохо понимавшим холастическое деление на «право» и «действительность», казалось, что они отрекаются не только от Янсения, но и от св. Августина, от ап. Павла и даже от самого Христа.

Больше всех мучилась сестра Евфимия. «Я в такой скорби, что, кажется, от нее умру, – писала она матери Анжелике. – Скорбь моя – о том, что единственные люди, которым Бог вверил истину свою, предают ее и не имеют мужества пострадать за нее и умереть. Чего мы боимся – изгнания, бедности, тюрьмы и смерти? Но не это ли все должно быть нашему славою и нашему радостью?.. Я знаю, что не девушкам бороться за истину. Но что же делать? Если у епископов мужество девушек, то не должно ли быть у девушек мужество епископов? Не нам бороться за истину, но нам за нее умирать». [207]

22 июня Жаккелина подписывает «клятвенное обещание», а 4 октября умирает.

«Дай нам Бог так хорошо умереть!» – говорит Паскаль как будто спокойно, узнав о смерти Жаккелины.[208] Что это значит? Мало любит? Сердцем так же сух и теперь, как по смерти отца? Нет, любит бесконечно. Если бы раньше она умерла, то, может быть, и он умер бы с нею, или, по крайней мере, хотел бы умереть, а теперь и хотеть незачем: уже умирает; смерть у него в душе и в теле.

31 октября, после того как первое постановление парижских викариев осуждено было Папой и Королевским Советом, объявлено второе, с требованием от сестер Пор-Руаяльской обители, так же как от всех духовных лиц во Франции, осуждения тезисов Янсения, с «простою и голою клятвою», уже исключавшей всякую возможность лукавого деления на «право» и «действительность».[209]

«Тайна беззакония» уже в самой Церкви совершается; Папа против Христа – таков смысл того, что Паскаль говорит об этом постановлении в десятом и четырнадцатом «Письме».[210] «Бог открыл мне, что Церкви больше нет на земле», – говорил св. Винсенту де Поль великий учитель и основатель Пор-Руаяля аббат Сен-Сиран.[211] Эти страшные слова мог бы теперь вспомнить Паскаль. Церковь вдруг исчезла для него, как тот жалкий стул, которым он заслонялся от бездны, и, снова зазияв под ним, она не только ужасает его, но и тянет к себе, влечет неодолимо броситься в нее, а что это значит, он и подумать боится.

23

«Надо решить, возможно ли деление на право и действительность, – спрашивает он в „Послании ко всем подписывающим клятву“ и отвечает: – Нет, невозможно... потому что такая клятва двусмысленна, а значит, и лжива. Те, кто дает ее, идут по среднему пути, гнусному перед Богом, презренному перед людьми и совершенно бесполезному для тех, кого хотят погубить». [212] Здесь Паскаль опять, как будто спокойно (но чего ему стоит это спокойствие!), выражает то, что чувствовало растерзанное мукой сердце Жаккелины, когда она подписывала лживую клятву, и потом, когда умирала. Некогда и он отделял «действительность» от «права», а теперь сама ужасающая действительность в смертной муке Жаккелины соединялась с правом. Вот когда он понял, что своим полуянсенистским, полуиезуитским примирением с ложью ничего не сделал для себя, ни для Церкви – только убил Жаккелину.

«Если прочими моими письмами я вас огорчал, досточтимый отец, доказывая вам невинность тех, кого вы хотели оклеветать, то этим письмом я вас обрадую, говоря о тех страданиях, которые вы им причинили, – пишет Паскаль тотчас после клятвы сестер королевскому духовнику, иезуиту о. Аннату (Annat). – Утешьтесь, отец мой: те, кого вы ненавидите, огорчены, и если господа епископы исполнят ваш совет принудить их поклясться, что они верят, чему на самом деле не верят и не должны верить, то вы их доведете до последнего отчаяния – видеть Церковь в таком унижении. Но видел их и я, отец мой (и признаюсь, с великой радостью), я видел их не в той высокомерной, философской твердости, которая заставляет людей исполнять свой долг, и не в

той малодушной робости, которая мешает им видеть истину и следовать за ней, а в кротком, непоколебимом и смиренном благочестии, исполненном уважения к Церковным властям... и в надежде, что та Благодать, которую они исповедуют и за которую страдают, будет их светом и силой... Видел я, что истина и мир для них дороже всего, потому что, когда им сказали, какие бедствия навлекут они на себя и какой соблазн в Церкви отказом от клятвы, то они ответили...». [213] Здесь голос Паскаля прерывается как бы слезами всех невинных жертв, и больше всех – Жаккелины: «Я должна умереть!»

«Лучшее милосердие к умершим – делать то, что они при жизни велели бы нам делать, и быть такими, какими бы они хотели нас видеть, потому что этим мы как бы воскрешаем их в себе, так что они и после смерти все еще живут и действуют в нас», – эти сказанные некогда Жаккелине слова свои об умершем отце Паскаль теперь исполняет. После смерти так же, как при жизни, она ему указывает путь, и он пойдет по этому пути до конца. Она, в самом деле, воскресает, живет и действует в нем. [214]

В ноябре 1661 года, может быть 22-го, в самый канун седьмой годовщины Огненной Ночи, собирались у Паскаля для совещания о второй клятве сестер господа Пор-Руаяля. «Выслушав доводы за и против, – вспоминает Маргарита Перье, – все они согласились, то ли из уважения, то ли искренне, с г. Арно и г. Николем, потому что это они нашли нужную для сестер уловку (все то же ненавистное Паскалю, а теперь еще и кровью Жаккелины обагренное деление на „право“ и „действительность“). Но г. Паскаль, любивший истину больше всего и к тому же страдавший от головной боли, которая не покидала его все эти дни, старался изо всех сил дать им почувствовать то, что он сам чувствовал, пока, наконец, ему не сделалось дурно, так что он вдруг замолчал и лишился чувств. Все были поражены и поспешили привести его в чувство, а потом разошлись. Остались только бывшие на этом собрании герцог де Роаннец, г-жа Перье, г. Перье-сын и г. Дома». Когда Паскаль совсем пришел в себя, то г-жа Перье спросила его, почему с ним сделался обморок, и он ответил ей так: «Когда я увидел, что все эти люди, о которых я думал, что Бог вверил им истину свою и что они должны ее защищать, пали духом и устрашились, то, признаюсь, я был охвачен такой скорбью, что не мог ее вынести, и должен был лишиться чувств». [215]

Брат и сестра, Паскаль и Жаккелина, как бы сросшиеся близнецы: когда один из них умирает, то и другой на смерть обречен. Теми же почти словами Паскаль и Жаккелина говорят одно. «Я в такой скорби, что, кажется, от нее умру», – говорит Жаккелина. «Я был охвачен такой скорбью, что не мог ее вынести, и должен был лишиться чувств», – говорит Паскаль, или, вернее, его устами говорит Жаккелина (в подлиннике еще тождественней: «Il faut que je succombe», – «Il a fallu que je succombe»). Жаккелина умерла, а Паскаль только обмер – лишился чувств, но смерть ее вошла и в него. Вместе живут они и вместе умирают, как в двух телах одна душа.

24

Ночью, 23 ноября, Паскаль сидел в той же самой комнате, за тем же самым столом, как в Ночь Огня, семь лет назад. Семь лет – семь ступеней в преисподнюю. Вспомнил, как вчера беспощадно судил Пор-Руальских друзей своих за лживую клятву. А разве не дал он сам клятву, еще более лживую, и не людям, как те, а Богу?

Тщательно зашитый в подкладку камзола кусок пергамента, «Мемориал», жег его, как раскаленный уголь: «Я бежал от Христа, отрекся от Него: Я распял Его». Или, может быть, не бежал, а только «заснул от печали», как ученики в Гефсиманскую ночь.

Толстая книга в кожаном переплете с медными застежками, Св. Писание, лежала перед ним на столе так же, как тогда, семь лет назад. Он открыл ее, нашел четырнадцатую главу Евангелия от Марка и прочел:

Взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать, И сказал им: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте». И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей...

Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон! Ты спишь? Не мог ты бодрствовать и один час?..»

И опять, отошедши, молился...

И возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели;

и они не знали, что Ему отвечать.

«Иисус, – думал Паскаль, – ищет хоть малого утешения у трех любимых учеников своих и просит их пободрствовать с Ним, а они к нему так безжалостны, что не могут и на минуту сна победить. Иисус покинут один и предан гневу Божиему. Муки Его не только не чувствует и не разделяет, но и не знает никто... Иисус терпит эту муку и покинутость в ночном ужасе.

Кажется, только этот единственный раз за всю свою жизнь, ищет Он общества людей и помочь от них... Иисус будет в смертной муке до конца мира; за это время не должно спать...»

Мысли у него мешались. Головная боль, еще усилившись со вчерашнего дня, сжимала голову его, как в железных тисках. Слева от него стояло, по обыкновению, кресло с высокой спинкой, чтобы заслонять его от Бездны; но не заслоняло так же, как и Церковь. Никогда еще Бездна не ужасала его и не тянула к себе так неодолимо, как сейчас. Кресло вдруг беззвучно отодвинулось. Он закрыл глаза с последним усилием отчаяния, чтобы не увидеть Бездны. Но чей-то ласковый голос шепнул ему на ухо:

Бросься отсюда вниз, ибо написано: «Ангелам своим заповедал о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твою».

Жадно открыл глаза, увидел Бездну и бросился в нее.

Где-то очень далеко на колокольне пробило двенадцать. Пламя догоравшей свечи на столе ярко вспыхнуло в последний раз и потухло. Лунный луч из окна сквозь голые ветки деревьев, скользнув по ковру на стене, осветил Архимеда с длинной, седой бородой, говорившего молодому грубому воину: «Циркулей моих не тронь!» – потом, крадучись по столу, заблестел на ртутных столбиках и стеклянных трубках и на медных колесиках старой счетной машинки, между «Опытами» Монтеня, «Руководством» Эпиктета и Св. Писанием; и наконец, упал на человека, лежавшего ничком на полу, как будто бездыханного.

Медленно поднял он лицо и почувствовал, что голова уже не болит и Бездна под ним не зияет. Не потому ли, что он на самом дне ее лежит? Нет, не потому, но это сделал Тот, Кто здесь, в комнате, и сейчас к нему подойдет. С радостным ужасом закрыл он лицо руками и снова упал ничком на пол, чтобы лица Его не видеть. Вдруг почувствовал на волосах своих такое же тихое веяние, как в незапамятном детстве, – может быть, даже не здесь, на земле, а где-то в раю, «когда мать подходила к его колыбели и, наклоняясь над ним, чтобы узнать, спит он или не спит, старалась как можно тише дышать. И услышал тихий, как будто вечно знакомый голос: „Утешься, ты не искал бы Меня, если бы уже не нашел... В смертной муке Моей, я думал о тебе; капли крови Моей Я пролил за тебя...“

„Господи, я отдаю Тебе все!“ – ответил он, поднял лицо, увидел Его и умер – воскрес.[216] Надо ли говорить, что это истолкование „Иисусовой Тайны“ – мой „апокриф“? Те, у кого есть в душе хоть первая точка религиозного опыта, поймут, что это – Апокриф, не в новом, а в древнем смысле греческого слова *aροσγυρφος* – „сокровенное свидетельство“ не только о том, что могло быть, но и о том, что действительно было, есть и будет.

25

Силой воскрешающей было для него чувство свободы. „Я простираю руки мои к Освободителю“, – скажет он первый не в Церкви, а в миру, как этого еще никогда никто не говорил.[217] Чувство свободы – чувство полета. Бездна от него не отошла и не закрылась под ним; он сам в нее вошел – упал – полетел.

„Церкви больше нет на земле“, – это было для него некогда ужасом, а теперь сделалось радостью. Он не говорил: „Церкви уже нет на земле“, а „Церкви еще нет“. Или если этого сам не говорил, то предчувствовал, что это люди когда-нибудь скажут и сделают, чтобы Церковь была. „Я люблю почитателей Бога, еще неведомых миру и даже самим Пророкам“.[218] Может быть, он предчувствовал что-то им еще не решенное или не додуманное о Церкви, какую-то последнюю борьбу за Церковь или с Церковью. Но радости его уже не могло омрачить и это предчувствие.

„Вы говорите, что я – еретик... Но если вы не боитесь людей, то побойтесь Бога... Многое будет на меня гонений, но за меня истина – увидим, кто победит“.[219] „Часто отлученные от Церкви ее спасают“.[220] „Письма“ мои

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org
осуждены в Риме, но то, что я в них осуждаю, – осуждено и на небе. К Твоему суду взываю, Господи! (Ad Tuum, Domine Jesu, tribunal appello!).[221]

«Отлучение от Церкви – ничто», – говорил Паскаль еще пять лет назад в письме к Шарлотте Роанненц, и мог бы теперь повторить с бесконечно большей силой.[222] Теми же почти словами говорит и Жаккелина: «Никто не может быть отлученным от Церкви, если этого сам не хочет».[223] В этом, как и во всем, он идет по ее следам; все еще, и после смерти, она живет и действует в нем; вместе умерли – вместе воскреснут.

Что Паскаль был почти святым и, если бы прожил немного дольше, – мог бы сделаться святым совсем, – это несомненно; но еще несомненнее, что для католической Церкви он был почти еретиком и если бы немного дольше прожил, то был бы еретиком совсем. Именно в этом – в возможной ереси или святости его – и заключается главная причина того, что людям наших дней так трудно, почти невозможно его понять и принять.

Первая книга Спинозы, появившаяся в 1663 году, следующем по смерти Паскаля, «Теолого-политический трактат», есть не что иное, как возражение «тем, кто презирает и отвергает человеческий разум как порочный, будто бы в корне своем», а значит, и возражение на все, что говорил Паскаль.[224] Этим Спиноза начинает, а Вольтер кончает: в 1778 году, накануне смерти, он пишет «Последние заметки о „Мыслях“ Паскаля», где объявляет его «полусумасшедшим изувером» (если не этими словами, то смысл именно этот).[225] «Слишком суровый и больной Паскаль больше повредил... религии, чем Вольтер и все остальные безбожники», – скажет Гёте.[226]

Этот суд предвидел Паскаль: «Много будет на меня гонений, но за меня истина; увидим, кто победит».

26

Кажется, в тот самый день, когда, узнав о смерти Жаккелины, он сказал с таким страшным спокойствием: «Дай нам Бог так хорошо умереть!», – он тяжело заболел, или, вернее, начал умирать. Чем он болел, врачи не могли понять, и, хотя варварские способы тогдашнего лечения были иногда хуже болезни, он покорно лечился, чтобы не огорчать близких. Но в минуты тягчайших страданий говорил: «Я боюсь выздороветь, потому что слишком хорошо знаю, как опасно здоровье и как благодетельна болезнь: это – естественное для христианина состояние».[227]

«Господи, да утешит меня Твой бич!» – мог бы сказать и теперь, как четырнадцать лет назад, в «Молитве о добром употреблении болезней». Жаждет страданий неутолимо, чтобы вытравить, выжечь из души и тела то чумное пятно первородного греха, которого выжечь нельзя ничем, кроме огня страданий.

Если верить Жильберте Перье, он еще задолго до предсмертной болезни носил под одеждой, на голом теле, кожаный пояс с гвоздями и каждый раз, как чувствовал одно из трех главных искушений – «похоть чувственности», «похоть знания», «похоть гордыни», – нажимал локтем на пояс, чтобы острия гвоздей вонзались в тело. Как будто не довольствуясь муками болезни, он продолжал носить этот пояс до самой смерти...

То, что он делает с собой в этой предсмертной болезни, похоже иногда на самоумерщвление не только плоти, но и духа, – на самоуничтожение до конца. Вытравить, выжечь, как чумное пятно первородного греха, он хочет и то, чем сердце живо, – любовь.

«Он старался показать, что совсем не любит тех, кого на самом деле очень любил, – вспоминает Жильberta Перье. – Мало того, он не только не хотел любить других, но не хотел, чтобы и другие любили его... Я изумлялась тому, как он грубо отталкивал меня, и мне казалось иногда, в то время как я ухаживала за ним в болезни с величайшей нежностью, что это ему тяжело». «Он не мог выносить, чтобы дети ласкались ко мне, и говорил, что надо их от этого отучать, потому что это им вредно».[228] Флорену и Жильберте Перье он советует не выдавать дочери замуж, потому что «брак для христианина есть низшее и опаснейшее из всех состояний» – нечто подобное «не только детоубийству, но и богоубийству». Это хотя и не собственные слова Паскаля, а его Пор-Руаяльских друзей, но он их повторяет и соглашается с ними.[229]

«Нехорошо, чтобы меня любили, – скажет он в „Мыслях“. – Я обманул бы тех,

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

кому внушил бы желание меня любить, потому что я не могу быть целью ни для кого и не могу ничье желание любви утолить».[230] «Людям внушать любовь – значит красть у Бога то, что Ему дороже всего».[231] «Если есть Бог, то мы должны любить только Его, а не преходящие твари... Следовательно, все, что нас привязывает к ним, есть зло, потому что мешает нам служить Богу или Его искать... Есть Бог – не будем же наслаждаться тварями». «Надо любить только Бога и ненавидеть только себя».[232] Он избегал говорить «я», потому что «христианская любовь уничтожает человеческое я».[233]

Очень легко сказать с Вольтером – «Это сумасшествие»; или осторожнее с Гёте – «Это болезнь». Очень легко напомнить Паскалю об ученике, Оргоне, и учителе, Тартюфе:

Он учит меня никого не любить
и освобождает от всех кровных уз так,
что я увидел бы смерть брата, детей, матери,
и никакого горя не испытал бы.

Очень легко напомнить об этом Паскалю и спросить его устами Клеонта:

Это ли, брат мой, человеческие чувства?[234]

Так легко изобразить Паскаля в его противоречиях с Евангелием: «Любите друг друга», – учит Христос; «Нет, не любите», – учит Паскаль. «Будут двое одна плоть», – учит Христос; «Брак – Богоубийство», – учит Паскаль. Очень легко спросить его: если болезнь – «естественное для христианина состояние», то зачем же Христос исцелял больных? да, все это очень легко, но бесполезно, потому что идет мимо Паскаля и потому что на все это мог бы и он ответить так же легко: «Что же значит: „Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее; если глаз твой соблазняет тебя, вырви его“? Что значит: „Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, то не может быть Моим учеником“?

В нашей хитрости, подлости, трусости, а главное, в Гефсиманском „сне от печали“ все мы хотели бы, как иезуиты, сделать узкие врата спасения широкими и тернистый путь – „бархатным“. Но это сделать нельзя.

Напрасно я бегу к Сионским высотам, –
Грех алчный гонится за мною по пятам;
Так, ревом яростным пустыню оглашая,
Взметая лапой пыль, и гриву потрясая,
И ноздри пыльные уткнув в песок зыбучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Будет ли олень бояться колючих его и рвущих терний, спасаясь от льва? Будет ли бояться человек мимолетных страданий, спасаясь от вечной погибели?

Не стекло режет алмаз, а алмаз – стекло; не святые судятся грешными, а грешные – святыми. Если так, то не нам судить Паскаля.

Он борется с любовью к близким не потому, что мало, а потому, что слишком их любят. Брат и сестра, Паскаль и Жаккелина, похожи друг на друга и в этом как близнецы. Во время тяжелой болезни сестры своей Жильберты Жаккелина пишет мужу ее утешительные письма, в которых, почти радуясь, что она так тяжело больна, может быть при смерти, советует ему воспользоваться этим „счастливым случаем, чтобы покаяться и навсегда покинуть мир“. Но в то же время признается: „Я так боюсь, чтобы мне не сказали, что она умерла, что если кто-нибудь только смотрит на меня, то мне уже страшно, что он это скажет, и я вся дрожу“.[235]

Кажется, что у Жаккелины здесь такое же противоречие, как у Паскаля, но на самом деле это не противоречие, а „противоположность двух истин“.
„Нехорошо, чтобы меня любили; людям внушать любовь – значит красть у Бога то, что Ему дороже всего“ – вот одна из этих двух истин, а вот и другая: „Я люблю всех людей, как братьев, потому что все они искуплены Христом... Я с нежностью люблю тех, с кем Бог меня теснее соединил“.[236] „Надо любить только Бога и ненавидеть только себя; христианская любовь уничтожает человеческое я“ – вот опять одна из двух истин, а вот и другая: „Должно любить себя, потому что все люди – члены Иисуса Христа“.[237]

Эти две истины, противоречивые в двух низших порядках – плоти и духа, „Согласуются в третьем, высшем порядке – любви“.[238] К этому-то порядку Паскаль идет, и уже почти дошел до него, – почти свят.

„Господи, я отдаю Тебе все!“ – говорит он и мог бы сказать так же, как св. Франциск Ассизский: „Господи, как бы я хотел отдать Тебе душу мою и тело мое! Как бы я хотел отдать Тебе... о, если бы я знал что!“[239]

„Я люблю бедность, потому что Он (Христос) ее любил“, – говорит Паскаль так же, как св. Франциск Ассизский; говорит и делает, продавая вещи – ковры, мебель, серебро и даже книги, кроме Св. Писания и, может быть, „Опытов“ Монтеня и „Руководства“ Эпиктета, – раздает полученные деньги бедным так щедро, что если бы Жильберта не остановила его, то роздал бы все до последней копейки и пошел бы просить милостыню, нищим, как св. Франциск Ассизский.[240]

Месяца за три до смерти, выйдя однажды от обедни у Св. Сульпиция, он встретил на улице девушку лет шестнадцати, которая попросила у него милостыню. Она была так хороша, что он не сомневался, что она еще до ночи сделается легкой добычей соблазнителя. Пристальней взглянувшись в нее, он спросил, кто она, откуда и почему просит милостыню. Девушка ответила, что она из деревни, что отец ее умер, а мать только что отвезли в больницу. Тотчас же он отвел ее в соседнюю духовную школу к священнику, дал ему денег, попросил его позаботиться о ней и подыскать ей приличное место, на котором она могла бы жить честным трудом, и, чтобы помочь ему в этом, обещал прислать на следующий день знакомую женщину, которая купит ей одежду и все нужное, чтобы поступить на место. Так он и сделал, и, благодаря усилиям доброго священника и той женщины, девушка поступила на место к хорошим людям и была спасена. Дело это осталось бы навсегда неизвестным, если бы священник не выпытал у женщины имени Паскаля, чтобы за него помолиться.[241]

Может быть, было что-то в лице этой девушки, что напомнило ему Жаккелину, и он вдруг полюбил ее нежнее, чем брат любит сестру. Если так, то это была последняя любовь его на земле, и этим же встретила его Жаккелина на пороге вечности, как первым поцелуем любви.

„Радость, мир“ – это предсказание Огненной Ночи исполнилось: мир, покой, тишина сходили в душу его. Только теперь понял он, что значит:

даже и плоть моя успокоится в уповании (Псалмы, 15:9).

„Я все дни моей жизни благословляю Искупителя моего, сделавшего меня, человека слабого, несчастного, исполненного похоти, гордыни и тщеславия, человеком свободным от всех этих немощей силой Благодати своей, которой и принадлежит вся слава, а не мне, потому что нет у меня ничего, кроме немощей и заблуждений“. „Слава за это да будет Мне, а не тебе, прах и тлен“, – говорит ему сам Иисус в Тайне.[242] В тихие воды вошел корабль его, после пояса бурь, или почти вошел, – почти, потому что и здесь, в этих бездонно ясных водах, мелькало иногда что-то темное – может быть, подводный камень, о который разбивается корабль и погибнет пловец, и потому что нельзя почти спастись – можно только спастись или погибнуть совсем. Этим подводным камнем мог сделаться для него все тот же нерешенный вопрос о Церкви.

Главною радостью его незадолго до предсмертной болезни были паломничества по всем парижским церквам для поклонения мощам и другим святыням, или для присутствия на приходских праздниках. Верным спутником его в этих паломничествах был „Духовный Альманах Парижа“ о. Мартиала дю Манс, маленькая, плохо, на серой бумаге отпечатанная книжка. „Он ходил по церквам так благоговейно и просто, что все, кто это видел, не могли надивиться“, – вспоминает Жильберта Перье.[243] В самых простых и бедных церквях, среди самых бедных и простых людей, он больше всего чувствовал присутствие Того, Кто сам был беден и прост.

В „Мыслях“ он доказывает безбожнику – может быть, одному из бывших друзей своих, рыцарю де Мэрэ или Митону, – необходимость неимоверного „заклада“, „пари“: есть Бог или нет? „Я вовсе не хочу держать такого пари: оно неразумно“, – возражает ему безбожник. „Нет, вам нельзя от него отказаться, – отвечает Паскаль. – Это не от вас зависит: игра уже начата... и знайте, что в обоих случаях – выигрыша или потери – выгодно для вас, а значит, и разумно, ставить за Бога“. „Да, но я создан так, что не могу верить. Что же мне делать?“ „Делайте все, как будто верите: заказывайте обедни, кропите себя святою водой и прочее. Это вас заставит верить, хотя и оглупит“. „Но

Мережковский Д. Паскаль filosoff.org

этого-то я и боюсь!“ „чего же вам бояться? Много ли вы потеряете?“[244]
„Мудрость возвращает нас к детству“, – говорит Паскаль уже себе
самому.[245]

„Это – дитя; он кроток и послушен, как маленькие дети“, – скажет о нем
духовник в его предсмертной болезни.

28

Болезнь началась в конце июня 1661 года. В доме его жил бедный человек с женой и ребенком, которые служили Паскалю только для того, чтобы не оставаться одному в доме, потому что он уже давно отпустил всех слуг и, пока был в силах, все делал сам для себя. Ребенок заболел оспой. Паскаль, тоже больной, не мог обойтись без помощи сестры своей, Жильберты, и боялся, чтобы дети ее не заразились оспой. Надо было отправить больного ребенка в больницу. Но этого Паскаль не хотел.

„Выехать из дома мне будет не так опасно, как ему. Я это и сделаю“, – решил он и переехал к Жильберте, в приход Св. Стефана-на-Горе (Paroisse Saint-Etienne-du Mont).[246]

дня через три он так тяжко заболел, что понял, что это конец. Смерть заглянула ему в глаза так же близко, как тогда, на Нейлинском мосту, когда карета висела над пропастью, и потом, когда он узнал, что привратница в доме Роаннцев хотела заколоть его кинжалом. Но смерти он уже не боялся или почти не боялся (эти вечно повторяющиеся, грозные „почти“ были как мелькающие в бездонно ясной глубине подводные камни).

Только что понял, что умирает (этого еще никто не понимал, меньше всего врачи), он пригласил приходского священника, о. Павла Беррье (L'abbé Paul Beurrier). Это был очень добрый, неглупый и простой человек. Паскаль сразу его полюбил и поверил ему. Исповедовавшись у него, он попросил напутствовать его, как умирающего, Св. Причастием. Но о. Павел отказался это сделать, потому что ни врачи, ни родные не считали болезнь его смертельной. Сколько он ни просил и ни убеждал о. Павла, тот не согласился, – с тем и ушел.[247] А по уходе его Паскаль вдруг вспомнил, что главного греха ему не сказал – того сомнения в Церкви, которое выразил в „Письмах“: „Тайна беззакония совершается уже в самой Церкви; Папа – против Христа“. Вспомнил и то, что писал Шарлотте Роаннец: „Тщетны все добродетели, подвиги и даже мученичества, вне Церкви и общения с главою Церкви, Папой. Я никогда от него не отделюсь; по крайней мере, я молю Бога помиловать меня от этого, потому что иначе я погиб“.

Где же он сейчас – в Церкви или вне Церкви, с Папой или против Папы? Что скажет он о. Павлу на последней исповеди, когда тот, наконец, поверит, что он умирает, и согласится его напутствовать? Или промолчит – обманет – украдет Тело и Кровь Господню? Или никакого обмана не будет в молчании, потому что не он первый сказал: „К Твоему суду взываю, Господи! (Ad tuum, Domine, tribunal appellabo!)“, а за триста лет до него это же сказал последний великий святой Бернард Клервосский, который знал, что не Христос от Церкви, а Церковь от Христа?[248]

Вдруг вспомнил услышанное в Ночь Огня и записанное в „Мемориале“: „Совершенное послушание Иисусу Христу и моему духовному отцу“, – и впервые охватил его ужас не временной, а вечной смерти.[249]

14 августа сделались у него такие боли в желудке и в голове, что он иногда лишался сознания. Только что ему стало легче, снова начал „умолять и требовать с невероятною настойчивостью, чтобы о. Павел его причастил“, – вспоминает Жильберта Перре. Но так как врачи все еще уверяли, что нет ни малейшей опасности, – ему опять отказали.

„Врачи не понимают, как я болен, и все вы ошибаетесь, – повторял он безнадежно. – Есть что-то в моей головной боли необычайное... Но так как мне отказывают в этой милости, и я не могу причаститься во Христе, то хотел бы это сделать, по крайней мере, в членах Его. Пусть же поселят в этом доме бедного больного и ухаживают за ним так же, как за мною, чтобы не было между нами никакого различья, потому что я не могу вынести мысли, что есть бесчисленное множество бедных людей, тяжелее больных, чем я, которые нуждаются во всем, между тем как я нахожусь в такой роскоши...“

Чтобы его успокоить, ему обещали это сделать, но не сделали. Тогда начал он умолять Жильберту перевезти его в больницу Неизлечимых, „чтобы он мог умереть в обществе бедных людей“.

„На это врачи не согласятся, пока вы в таком состоянии, как сейчас, но только что вам будет полегче, мы это сделаем“, – обещала Жильберта, но так, что он понял, что она этого никогда не сделает, и почувствовал, что всеми покинут, как только мертвые бывают покинуты живыми, и что над ним исполняется страшное слово его, сказанное в „Мыслях“ о всяком человеке: „Умрешь один“.

29

Горький смех Мольера сопровождал его в смерти. Люди в длинных черных одеждах, в высоких и узких черных шляпах играли такую же балаганную комедию с умирающим Паскалем, как с „Мнимым больным“ у Мольера. Смерть думали они победить кровопусканиями и клистирными трубками.

„Все, что я вижу, кажется мне промывательным“, – мог бы сказать и Паскаль, как злополучный, несчастный г. Пурсоньяк.[250]

„В ночь на 19 августа сделались у него такие судороги, что, когда они прошли, мы все подумали, что он уже мертв, и были в великое горе, что он умер, не причаствившись“, – вспоминает Жильберта Перье.[251] Что умрет без напутствия, уверен был и сам Паскаль, но, с последней надеждой, вдруг вспомнил:

В смертной муке Моей Я думал о тебе; каплю Крови Моей Я пролил за тебя.

„Кто это сказал, Тот меня и причастит“, – подумал. Но вспомнил и слова ап. Павла:

Сам Сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их (2 Коринф., 11:14-15).

„Что, если и мой конец?..“ – начал думать он и не кончил: вдруг услышал знакомые шаги на лестнице, открыл глаза и увидел о. Павла, входившего в комнату со Св. Дарами.

„Вот Тот, Кого вы так желали!“ – сказал он, подходя к нему, чтобы его причасть.

Медленно, с трудом, но без чужой помощи, умирающий приподнялся на постели, чтобы встретить Желанного.

„Веришь ли ты, сын мой, во все, чему учит Церковь?“ – спросил о. Павел.

„Верю, верю, от всего сердца верю во все!“ – ответил Паскаль очень слабым, но таким внятным голосом, что слышали все и, когда о. Павел причащал его, заплакали от радости. Потом упал на подушку, закрыл глаза и прошептал: „да не покинет меня Господь никогда!“ – то же и теми же почти словами, как в Ночь Огня: „Да не буду я от Него отделен никогда!“ И вдруг почувствовал на волосах своих такое же тихое веяние, как в незапамятном детстве, может быть, даже не здесь, на земле, а где-то в раю, – когда мать подходила к его колыбели и, наклоняясь над ним, чтобы узнать, спит он или не спит, старалась как можно тише дышать. И услышал вечно знакомый, тихий голос: „Вот Я, Которого ты так желал. Утешься, ты не искал бы Меня, если бы уже не нашел“.

Прошли еще сутки. Часто повторялись у него такие же страшные судороги, как накануне.[252] Но чувствовал все время, сквозь все муки, что с ним Тот, Кого он нашел и Кто его уже никогда не покинет.

С мертвого сняли маску, которая уцелела до наших дней.[253] Главное в этом лице – как бы устремленность бесконечного полета и в то же время покой, тишина бесконечная. Веки тяжело опущены, но кажется, что когда подымутся, то глаза увидят Бога. Это – лицо одного из тех, о ком сказано:

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Матфей, 5:8).
III. ЧТО СДЕЛАЛ ПАСКАЛЬ?

чудо Св. Терна внушило Паскалю замысел того великого дела, которому решил он посвятить весь уже недолгий, как он предчувствовал, остаток жизни. Дело это он сам называет „Защитой христианства“, „Апологией“, а люди назовут его „Мыслями“. [254]

После чуда он придумал изображение для своей печати: два человеческих глаза, окруженных венцом, с надписью – „*Scio cui credidi*“. Знаю, кому верю. [255] Смысл изображения тот, что мучившая его всю жизнь борьба веры и знания кончилась: эти два противоположных начала соединились в третьем, высшем, – в любви. Главным источником «Мыслей» и будет это соединение.

В 1659 году, за три года до смерти, Паскаль в обществе друзей своих, вероятно «господ Пор-Руаяля», изложил замысел «Апологии». Речь его длилась два-три часа. «Все присутствовавшие на этом собрании говорили, что никогда не слышали ничего более прекрасного, сильного, трогательного и убедительного», – вспоминает один из слушателей, племянник Паскаля Этьен Перье. [256]

Вскоре после этой речи Паскаль заболел и, хотя в первое время болезни не лежал в постели и даже выходил из дома, чувствовал себя так плохо, что врачи запретили ему всякий умственный труд. Близкие отнимали у него и прятали книги и не давали ему писать, ни даже говорить ни о чем, что требовало умственного напряжения. Но вынужденное внешнее бездействие только усиливало внутреннюю работу ума. Мысли приходили к нему сами собой, и он «записывал их на первых попадавшихся ему под руку клочках бумаги в немногих словах или даже полусловах». [257] «Часто возвращался он с прогулки домой с буквами, написанными на ногтях иглою: буквы эти напоминали ему разные мысли, которые он мог бы забыть, так что этот великий человек возвращался домой, как отягченная медом пчела», – вспоминает Пьер Николь. [258]

«Память у Паскаля была удивительная», – по свидетельству того же Николя. «Я никогда ничего не забываю», – говорил сам Паскаль. [259] Все, что он видел и слышал, врезывалось в память его неизгладимо, как стальным резцом – в камень. Но во время болезни она ослабела. «Часто, когда я хочу записать какую-нибудь мысль, она ускользает от меня, и это напоминает мне мою слабость, которую я все забываю, так что это напоминание для меня поучительнее, чем ускользнувшая мысль, потому что главная цель моя – познать свое ничтожество». [260]

Когда, излагая друзьям своим замысел «Апологии», Паскаль настаивал на «порядке и последовательности» того, что хотел написать, он ошибался и потом понял свою ошибку: «я буду записывать мысли без порядка, но, может быть, не в бесцельном смешении, потому что это будет истинный порядок, выражющий то, что я хочу сказать в самом беспорядке». [261] «Свой порядок у сердца, и у разума – свой, состоящий в первых началах и в их доказательствах; а у сердца порядок иной. Никто не доказывает, что должен быть любим, излагая в порядке причины любви: это было бы смешно». [262]

Сделаны были и, вероятно, еще много раз будут делаться попытки восстановить в «Мыслях» Паскаля «порядок разума». Но все эти попытки тщетны: каждый читатель должен сам находить в «Мыслях» свой собственный порядок, не внешний – разума, а внутренний – сердца, потому что нет, может быть, другой книги, которая бы шла больше, чем эта, от сердца к сердцу.

«Мне было нужно десять лет здоровья, чтобы кончить Апологию», – часто говорил Паскаль. [263] Но и в десять лет не кончил бы, судя по всем другим делам его: счетная машина, опыты конических сечений, опыт равновесия жидкостей, «Опыт о духе геометрии» – все осталось неконченным, а «Начала геометрии», книгу тоже неконченную, он сжег. «Письма» прерываются внезапно, именно в то время, когда достигают наибольшего успеха и могли бы оказаться наибольшее действие. Очень вероятно, что та же участь постигла бы и «Апологию». [264]

Все, что сделал Паскаль, этот «ужасающий гений», [265] подобно развалинам недостроенного мира.

О, умираю я, как Бог,
Средь начатого мирозданья!

Но эта неконченность – признак не слабости, а силы, потому что здесь, на

Мережковский д. Паскаль filosoff.org
земле, невозможно ничто действительно великое; здесь оно только начинается, а кончено будет не здесь.

Чтобы понять, что сделал Паскаль для защиты христианства, надо помнить, что его «Апология» идет не от Церкви к миру, как почти все остальные, от первых веков христианства до наших дней, а от мира к Церкви. Кто защищает себя, слабее того, кто защищает других: вот почему защищающие христианство люди Церкви слабее, чем делающие то же люди мира. Здесь, в «Апологии» Паскаля, впервые раздался голос в защиту христианства не из Церкви, а из мира.

Дело Паскаля так же велико, как дело Сократа: этот «свел мудрость с неба на землю», а тот – веру.[266] Может быть, со времени ап. Павла не было такой защиты христианства, как эта.

«Честный человек и геометр Паскаль делает такие признания, каких не посмели бы сделать многие христиане», – верно замечает Тэн.[267] «Религия недостоверна».[268] «Непонятно, что Бог есть, и что Бога нет». Все непонятно. «Я смотрю во все стороны и вижу только мрак. Если бы я ничего не видел в природе, что возвещает мне Бога, я выбрал бы отрицанье; если бы я видел в ней везде знаки Творца, я успокоился бы на вере. Но, видя слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы верить, я нахожусь в таком жалком состоянии, что тысячи раз желал бы, чтобы если есть Бог в природе, то она обнаружила бы Его недвусмысленно, а если признаки Бога обманчивы в ней, – чтобы она их совсем уничтожила».[269] Вот, в самом деле, удивительное признание в устах христианина; ни один человек в Церкви такого признания не сделал бы.

Огромное большинство неверующих вовсе не последовательные безбожники, а только сомневающиеся в Боге: к ним-то и обращается Паскаль в «Апологии». «На неверующих жизнь его действует больше, чем тысячи проповедей», – хорошо скажет неверующий Бэйль.[270] Так же действуют и «Мысли», где отразилась, как в вернейшем зеркале, вся жизнь Паскаля. Здесь, в «Апологии», как почти во всем, он – между двух или, вернее, между четырех огней: две Церкви, янсенистская и католическая, – два огня; и еще два – Церковь и мир.

Что сделал Паскаль, янсенисты не поняли. Кто он такой для ближайшего к нему из них, Пьера Николя? Только «собиратель ракушек».[271] «Мало будет он известен потомству, – говорит тот же Николь в надгробной речи над Паскалем. – Он был царем в области духа... Но что от него осталось, кроме двух-трех довольно бесполезных, маленьких книжек?»[272]

«Мысли» Паскаля Св. Инквизиция сожгла бы, а его друзья, янсенисты, хуже сделают: выжгут цензурой из книги его все, чем она жива и действительна; обезоружат его и выдадут с головой врагу.[273]

Слабо любят его друзья – янсенисты, а враги – католики – сильно ненавидят. Парижский архиепископ Гардуэн де Перефикс (Hardouin de Reréfixe) хочет «вырыть из могилы тело его, чтобы бросить в общую яму», как падаль нечистого пса.[274]

Но хуже для Паскаля, чем мнимые христиане и действительные безбожники, – люди, верующие в иного Бога, дети Матери Земли, но не от Отца Небесного, – такие, в христианство не обратимые, потому что для него непроницаемые, люди, как Монтень, Мольер, Шекспир, Спиноза и Гете. Вот вечные враги его, а ведь они-то и сотворят то человечество грядущих веков, для которого только и делал он то, что делал. Мог бы и он, впрочем, утешиться и, вероятно, утешался тем, что у него и у Христа одни и те же враги. «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лука, 2:34), – это можно бы сказать и о Паскале.

«Какой великий ум, и какой странный человек!» – таков приговор Мольера над Паскалем после воображаемой беседы их у Сен-Бёва.[275] «Странный человек» значит «почти или совсем безумный». Но это кажущееся людям мира сего безумие Паскаля есть не иное, как «безумие Креста». «Для такого сердца, как у него, возможно было только одно из двух – или Бездна, или Голгофа». «Плачущий у подножия креста Архимед» – вот кто такой Паскаль.[276] «Я простираю руки к моему Освободителю, который сошел на землю, чтобы пострадать и умереть за меня».[277]

Может быть, после первых людей, увидевших в Сыне Человеческом Сына Божия, никто не называл Христа Спасителем с таким бесконечным страхом гибели и с

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так, ты жилище двух миров;
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов...
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.[278]
Лучше нельзя выразить того душевного состояния, в котором написаны «Мысли».

3

Те, кто слышал Паскаля и хотя бы немного понял (совсем не понял никто), уже никогда не могли слышанного забыть. Люди вспоминают и записывают речи его, сказанные лет десять назад, как будто слышали их вчера.[279] Эта незабвенность слова его зависит от нескольких совершенств в его языке.

Первое совершенство можно бы определить как общий закон языка, математически: сила речи обратно пропорциональна количеству слов; или эстетически, как определяет сам Паскаль, тут же исполняя этот закон в совершенстве, «красота умолчания».[280] Кажется, двое только равны Паскалю по силе и сжатости речи – Данте и Гераклит, а превосходит его только один Единственный. Краткость и сила речи в «Мыслях» такая, как у человека в смертельной опасности – в пожаре или потопе. «Истина без любви – ложь». «Человек – мыслящий тростник». «Умрешь один».[281] Большего в меньшем никто не заключал. Надо быть очень пустым человеком, чтобы не чувствовать от этих кратких слов Паскаля почти такого же действия, какое чувствует любящий от одного, впервые услышанного от любимой слова «Люблю», или умирающий даже не от услышанного, а только угаданного в лицах близких, «Умрешь».

Второе совершенство в языке его – простота. «Надо быть, насколько возможно, простым и естественным; ничего не преуменьшать и не преувеличивать».[282] «Надо писать, как говоришь». Очень высоко ценит он «Мысли, рожденные в обыкновенных житейских разговорах».[283] «Когда язык совершенно естествен, то читатель удивлен и восхищен, потому что думал найти писателя, а нашел человека».[284]

Третье совершенство – точность. «Некоторые Мысли Паскаль переделывал от восьми до десяти раз, хотя уже и в первый раз они выражены так, что всякому другому могли бы казаться совершенством».[285] Надо видеть фототипии с рукописи «Мыслей», чтобы понять, как бесконечны усилия Паскаля в поисках точности.[286]

Четвертое совершенство – порядок слов. «Тот же мяч в игре, но один его кидает лучше другого; те же в речи слова, но действие их различно, смотря по тому, в каком порядке расположены слова».[287]

Пятое совершенство – вкрадчивость. Надо не доказывать, а внушать: «Надо делать на своем собственном сердце опыт того, что хочешь сказать, так, чтобы слушатель вынужден был сдаться».[288]

Шестое совершенство – соединение страсти с мыслью. Лучше всего знающая Паскаля Жаккелина ждет всегда «великих крайностей от его кипящего сердца». «Спорит он всегда так горячо, как будто сердится на всех и ругается».[289] Страстно чувствовать умеют все, но только очень немногие умеют страстно мыслить, как Паскаль. Исступление отвлеченнейшей и как будто холоднейшей мысли у него подобно исступлению страсти; чем отвлеченнее, тем страстнее, огненней. Как руку на морозе обжигает схваченное железо, так иногда отвлеченнейшие мысли Паскаля обжигают сердце.

И наконец, седьмое и главное совершенство в языке его – постоянное присутствие «антиномического», «противоположно-согласного». В каждой капле морской воды чувствуется соль; в каждом слове Паскаля слышится «противоположно-согласное» (не вскрытая Троичность). Может быть, он только «собиратель ракушек», но на таких берегах, где чувствуется постоянный запах

Божественной Соли – неземное дыхание Трех. Этим язык Паскаля напоминает больше всего Евангелие, насколько язык человеческий может напоминать Божественный.

«Он писал только для себя одного», – говорит Этьен Перье в «Предисловии к „Мыслям“».[290] Так оно и есть: в самых глубоких мыслях Паскаль как будто забывает, что пишет «Апологию» и что кто-то будет его читать, – забывает все и остается наедине с самим собой и с Богом. В этом необычайность и единственность «Мыслей»: кажется, в таком уединении с Богом и с самим собой не был никто из людей.

Плачущий и утешающий, пророческий хор Океанид и Скованный Прометей – «Мысли» Паскаля и Человечество. Это больше чем книга; это вечно кровью сочащаяся рана в сердце человечества.

4

«Паскаль проходит всего человека, чтобы дойти до Бога».[291] Вот почему Апология, защита христианства, начинается у него с Антропологии, человечоведения. В несомненнейшей для всех людей очевидности – в их бесконечном несчастии – Паскаль находит первую, незыблемую точку всей своей Апологии.

«Кто увидит себя между двумя безднами – небытия и бесконечности, – ужаснется».[292] «Я знаю только одно, – что скоро умру; но что такое эта неизбежная смерть, я не знаю».[293] «Как бы ни была хороша комедия, ее последнее действие всегда кровавое. Кинут щепотку земли на голову, и это уже навсегда».[294] «Между нами и адом или небом – только жизнь – самое хрупкое из всего, что есть в мире».[295] «в пропасть люди бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти».[296] Это мешающее видеть Паскаль отнимает от глаз человека, чтобы остановить его на краю пропасти.

«Есть что-то непонятное и чудовищное в чувствительности людей к ничтожнейшим делам и в совершенной бесчувственности к делам величайшим. Точно заколдованные какой-то всемогущей силою, погружены они в сверхъестественный сон».[297] «Множество людей, осужденных на смерть, закованы в цепи, и каждый день одних убивают на глазах у других, а те, кто остается в живых, смотрят друг на друга с отчаянием и ждут своей очереди». «Этот человек в тюрьме не знает, постановлен ли над ним смертный приговор, но знает, что ему остается только один час, чтобы это узнать, и что этого часа довольно, чтобы отменить приговор; но вместо того, чтобы воспользоваться этим часом, он играет в карты. Таков сверхъестественный сон людей; это отяготение руки Божией на них».[298] «Видя немоту всего мира, видя человека, лишенного света, покинутого на самого себя в самом глухом углу мира, не знающего, кто и зачем бросил его туда, – я ужасаюсь, как перенесенный, во время сна, на пустынный и страшный остров, человек, который проснулся, не зная, где он, и не имея возможности спастись с этого острова».[299]

Паскалю в Апологии нужен человек последнего отчаяния, накануне самоубийства. «Вместо того, чтобы выбрать какую-нибудь веру, он (бездожник), решает себя убить».[300] Мелькала ли мысль о самоубийстве у самого Паскаля? Сделал ли он и этот страшный «опыт на своем собственном сердце»?

5

Люди, соединенные в общества, народы, государства, так же безумны и несчастны, такие же заколдованные, погруженные в «сверхъестественный сон», как всякий человек в отдельности.

«Люди естественно ненавидят друг друга».[301] «Каждое человеческое „я“ хотело бы поработить все остальные».[302] «Каждый человек – все для самого себя, потому что когда он умирает, то для него умирает все; вот почему каждый хочет быть всем для всех».

«Люди заставляют служить похоть общему благу; но это только – лицемерие и ложный образ любви, а на самом деле, ненависть... Злое в человеке начало этим не истреблено, а только прикрыто».

«Все в мире есть похоть чувственности, похоть знания или похоть власти».[303] Горе проклятой земле, которая этими тремя огненными реками не орошается, а воспламеняется!.. Эти реки текут, и падают, и увлекают все».[304]

Паскаль обличает ложь и бессмыслицу человеческих законов. «Нет ничего справедливого и несправедливого, что не изменялось бы с изменением климата. Только три градуса широты опрокидывают законодательство; меридиан решает истину... Жалкая справедливость, ограниченная рекою! Истина – по сию сторону Пиренеев, а по ту – ложь». «Что может быть нелепее того, чтобы человек имел право меня убить только потому, что живет на том берегу реки и что его государь поссорился с моим?» «За что вы меня убиваете? – Как за что? Разве вы не живете на том берегу? Если бы вы жили на этом, я был бы убийцей... а теперь я – доблестный воин». [305]

Сила закона зависит не только от пространства, но и от времени. «Кража, кровосмешение, детоубийство, отцеубийство – все некогда считалось добродетелью». [306] «Кто пристальнее взглянется в основание законов, тот найдет его таким слабым, что если не привык к чудесам человеческого воображения, то удивится, что и одного века достаточно, чтобы сделать закон достойным уважения. Все искусство основывать и разрушать государства заключается в том, чтобы нарушать установленные обычаи, исследуя их в источнике и показывая в них недостаток власти и справедливости». [307]

Так же обличает Паскаль ложь и бессмыслицу собственности. «Эта собака моя», – говорят глупые дети. «Это место под солнцем мое», – говорят умные взрослые. «Вот начало и прообраз всех завоеваний». [308] «Что такое собственность? Забытый грабеж». [309] «Равенство собственности, конечно, справедливо. Но так как люди не могут заставить людей подчиняться справедливости как силе, то заставляют их подчиняться силе как справедливости». [310]

В 1660 году Паскаль давал уроки какому-то мальчику, вероятно четырнадцатилетнему сыну герцога де Льюнь, одного из господ Пор-Руаяля. Кое-что из этих уроков записал, лет через десять, Пьер Николь, со слов присутствовавшего на них, под заглавием: «Три речи о сильных мира сего». Речи эти однозначны с тем, что говорит Паскаль в «Апологии» о лжи государства – одного из самых чудовищных и мучительных видений в «заколдованным сне» человечества.

«Вы должны иметь две мысли – одну (явную) для общества, которая возвышала бы вас надо всеми людьми, а другую (тайную), для себя, которая унижала бы вас и равняла со всеми людьми, потому что таково ваше естественное состояние, – учит Паскаль маленького герцога. – Царство ваше невелико... Но и величайшие цари земли, подобно вам, суть цари похоти... потому что только Бог есть Царь любви... Зная ваше естественное состояние, не думайте, что ваша собственная сила подчиняет вам людей... Не будьте же к ним жестоки... Удовлетворяйте их законные желания... будьте милосердны, делайте добро, какое можете, и вы будете истинным царем похоти. То, что я вам сейчас говорю, стоит немного, и если вы на этом остановитесь, то погибнете, но, по крайней мере, погибнете как честный человек (*honnête homme*). Есть множество людей, погибающих подло и глупо, в алчности, в зверстве, в насилии, в разврате, в злобе, в богохульстве. Путь, который я вам указываю, благороднее, но все же великое безумие обрекать себя на гибель. Вот почему не должно на этом останавливаться; но должно, презирая похоть и царство ее, стремиться к тому Царству любви, где все подданные дышат одною любовью и желают только блага любви. Этот путь укажут вам другие, а с меня довольно и того, что я вас остерегаю от того жестокого пути, которым идут многие сильные мира сего, потому что истинного состояния своего не знают». [311]

Кажется, благороднее, проще и убедительнее никто не говорил о том, как «царство мира сего» относится к Царству Божьему.

6

Так же как ложное соединение людей – государство, когда оно делается единственной, последней и высшей целью, когда «Град человеческий» (*Civitas hominum*), по св. Августину, становится на место «Града Божия» (*Civitas Dei*), Церкви, – Паскаль обличает и ложное знание, когда оно, делаясь тоже последней и высшей истиной, становится на место религии.

Те немногие, кто пробудился от «заколдованного сна», напрасно ищут спасения во внешнем знании природы. «Внешнее знание не утешит меня от духовного невежества во дни печали, но духовное знание утешит всегда от внешнего невежества». «Что такое человек в природе? Перед бесконечностью –

ничтожество, перед ничтожеством – все; середина между ничем и всем. Человек бесконечно далек от познания (обеих противоположных) крайностей; все концы и начала скрыты от него непроницаемой тайной; он одинаково не способен познать ни того небытия, из которого вышел, ни той бесконечности, которой будет поглощен». [312] «Наша истина и наша справедливость – две такие неуловимые точки, что орудия нашего ума слишком тупы, чтобы их найти с точностью, и если даже находят, то острия этих орудий, расщепляясь, упираются где-то около тех двух точек, скорее в ложь, чем в истину». [313]

Царь внешнего, пробуждающего людей от «сверхъестественного сна», чтобы они могли увидеть гибель, но от нее не спасающего знания – Декарт. «Я не могу простить декарту; он хотел обойтись без Бога во всей своей философии, но вынужден был позволить Ему дать миру пощечину, чтобы привести его в движение, а потом ему уже нечего было делать с Богом. Декарт бесполезен и сомнителен». [314] Слишком ясно предчувствует Паскаль, что Декарт будет отцом всего внешнего, механического, людей от Бога уводящего знания, чтобы его «простить» и даже быть к нему справедливым. Слишком хорошо знает Паскаль, что нет ничего бесстрастнее, беспощаднее механики; нет ничего противоположнее живому, любящему и страдающему сердцу человека. Декарт для Паскаля – воплощенный демон Геометрии, самый холодный из всех демонов, вечно искушающий Бездну: «Бросься отсюда вниз, ибо написано: „Ангелам своим заповедал о Тебе сохранить Тебя; и понесут Тебя на руках своих, да не преткнешься о камень ногою Твою“.

7

Истинное знание, „утешающее в дни печали“, есть не внешнее знание мира, а внутреннее знание человека. Проникая в последние, никем до него не исследованные, глубины души человеческой, Паскаль находит в них как бы развалины царственного величия или запустевший и разрушенный храм какого-то неведомого бога, и в полуистертых на стенах его надписях читает имя этого бога: „Человек“.

„Все несчастья человека доказывают его величие: это несчастья развенчанного царя“. [315] „Царственное величие человека видимо даже в его ничтожестве, ибо кто, кроме развенчанного царя, чувствует себя несчастным, потому что он не царь?.. Кто несчастен, потому что у него только один рот... и кто не несчастен, потому что у него только один глаз?“ „чем больше мы узнаем, тем больше открываем величия и низости в человеке“. [316] „Жалок человек и велик, потому что знает, что жалок“. [317] „Дух человеческий, этот верховный судия мира, не так свободен, чтобы не быть смущенным первым около него происходящим шумом. Пушечного грома не нужно, чтобы помешать ему думать; для этого достаточно визжащего флюгера или скрипящего блока. Не удивляйтесь, что этот человек нехорошо мыслит: комар жужжит около уха его... Если вы хотите, чтобы он нашел истину, отгоните комара, который смущает и побеждает этот могущественный ум, правящий городами и царствами. Смешной бог – человек“. [318]

А все-таки „царственное величие“ человека – мысль. Человек – только тростник, самый слабый в мире, но тростник мыслящий. Чтобы раздавить его, не нужно миру вооружаться на него: для этого достаточно веяния ветра, капли воды. Но если бы мир раздавил человека, он был бы все-таки выше мира, потому что знал бы, что умирает, а мир ничего не знает. „Все наше достоинство в мысли. Ею мы должны возвышаться, а не пространством и временем, которых не можем наполнить. Будем же хорошо мыслить... Мир обнимает и поглощает меня пространством, как точку, но мыслью я обнимаю мир“. [319]

„Слишком показывать человеку, как он подобен животным, не показывая, как он велик, – опасно; так же опасно слишком показывать ему величие его, не показывая низости; но всего опаснее оставлять его в неведении о том и другом... Не должно человеку думать, что он равен животным или Ангелам... но должно знать возможность того и другого. Если человек возвышает себя, я его унижаю, если он унижает себя, я его возвышаю... И всегда противоречу ему, пока он не поймет, что человек есть непонятное чудовище“. [320] „О, какая химера человек, какое чудовище, какой хаос, какое противоречие, какое чудо! Мудрый судия всего, бессмысленный червь; хранитель истины, помойная яма лжи; слава и отребье вселенной“ (вот один из бесчисленных примеров „антиномического“, „противоположно-согласного“ в языке Паскаля). Смирись же, гордый разум; молчи, бессмысленная природа; познайте, что человек бесконечно превосходит человека... Слушайте Бога!“ [321]

Бог говорит человеку: «я – Тот, Кто тебя сотворил, и Кто один только может открыть тебе, кто ты такой. Ты теперь уже не тот, каким Я тебя сотворил: ты был свят, невинен, совершенен, исполнен света и разума; Я открыл тебе славу и чудеса Мои; очи твои созерцали величие Мое... Но ты захотел быть равен Мне и найти в себе самом блаженство. Тогда я покинул тебя и возмущил против тебя всю некогда тебе послушную тварь».[322]

Здесь подходит Паскаль к тому сокровеннейшему и, для «внешнего знания», непостижимому, что соединяет Антропологию, Человековедение, с Апологией, Защитой христианства, – к религиозному опыту первородного греха. Он говорит о нем так же ясно, просто и убедительно, как о своих научных опытах.

8

«Самая для нас непостижимая тайна есть наследие первородного греха, потому что нет ничего более противного нашему разуму, чем то, что грех первого человека сделал виновным всех, кто, будучи так далек от него, казалось бы, не мог в нем участвовать. Это кажется нам не только невозможным, но и несправедливым... А между тем узел всех наших судеб завязан... именно в этой бездне так, что человек еще более непостижим без этой тайны, чем сама она непостижима для человека».[323]

Самый темный и таинственный узел человеческих судеб заключается в неразрешимом для человека противоречии между бесконечной волею к счастью и столь же бесконечной невозможностью счаствия. «Человек, вопреки всем своим страданиям, хочет быть счастливым и не может не хотеть».[324] «Жажда счаствия есть причина всех человеческих действий, даже и тогда, когда человек идет вешаться... О чем же нам говорит эта бессильная жажда, как не о том, что человек был некогда действительно счастлив и что теперь осталась у него от этого счаствия только пустота... ненаполнимая ничем, кроме содержания бесконечного – т. е. Бога?»[325]

«Если человек создан не для Бога, то почему же он счастлив только в Боге? Если человек создан для Бога, то почему он противится Богу?» «Вся природа такова, что всюду на ней видны знаки потерянного Бога».[326] «В странную, для человеческих взоров непроницаемую тайну прячется Бог... Он таился под покровом природы до своего воплощения, а когда Ему должно было явиться, то скрылся еще более под покровом человечества. Легче было узнать Его, когда Он был невидим, чем когда Он явился... Все явления мира суть покрывала на Боге. Верующие должны узнавать Его во всем».[327]

«Все пророчества и чудеса, все доказательства веры не до конца убедительны, но и не таковы, чтобы не было в них основания для веры. Есть в них очевидность, и есть темнота, чтобы просвещать одних и ослеплять других. Но очевидность такова, что превосходит очевидность противного или, по крайней мере, ей равна».[328] «Неверно, что все скрывает Бога, но также неверно, что все открывает Его; верно лишь то, что Бог скрывается от тех, кто искушает Его, и открывается тем, кто ищет Его, потому что люди одновременно и недостойны Бога, и способны к Нему; недостойны по своему растлению, а по своей природе способны».[329] «Истинно, Ты – Бог сокровенный» (*Vere tu es Deus absconditus*), по слову пророка (Исаия, 45:15). «Если бы не было темноты (в вере), то человек не чувствовал бы своего растления; если бы не было света, то человек не надеялся бы на исцеление. Итак, не только справедливо, но и полезно, чтобы Бог был отчасти скрыт и отчасти открыт, потому что для человека одинаково опасно знать Бога, не зная своего ничтожества, и знать свое ничтожество, не зная Бога».[330]

9

Главный метод религиозного познания у Паскаля заключается в том, что он переносит его из разума в то, что называет «сердцем», а мы назвали бы «волей». В этом религиозный опыт его совпадает с научным: «Все познания первых начал – пространства, времени, движения, чисел – идут не от разума, а от сердца воли».[331] «Истину мы видим не в силлогизмах, а во внутреннем озарении... Внутренним только осязанием познается Бог (*per tactum intrinsecum*)» – с этим утверждением Кампанеллы согласился бы Паскаль.[332]

В этом новом методе Богопознания против Паскаля не только вся философия, от Аристотеля до Декарта, Спинозы и Канта, но и вся католическая Церковь, от св. Фомы Аквинского до Ватиканского собора 1870 года, объявившего анафему тому, кто отрицает, что «при свете естественного человеческого разума бытие

«Сердцем, а не разумом узанный Бог – вот что такое вера», – учит Паскаль. «Есть и у сердца свои разумные доводы, которых разум не знает... Разве мы любим по разуму?» «О, как далеко от познания Бога до любви к Нему!» [334] «Если люди верно говорят о делах человеческих: „Надо знать, чтобы любить“, то святые говорят о делах Божиих: „Надо любить, чтобы знать“. „В истину нельзя войти без любви“.[335] „Истина без любви... ложь“.[336]

„О, как я люблю видеть этот гордый разум униженным и умоляющим!“ [337] „Нет ничего соответственнее разуму, чем отречение от разума“.[338] „последнее действие разума сводится к тому, что есть нечто, бесконечно большее разума“.[339] „Если даже естественные явления выше разума, то насколько более – сверхъестественные“. „Мудрость возвращает нас к детству“.[340]

„Все, что непонятно, все-таки есть: бесконечное число, бесконечное пространство, равное конечному“. „Невероятно, чтобы Бог соединился с человеком?.. Но я хотел бы знать, по какому праву такое слабое животное, как человек, измеряет милосердие Божие и ставит ему границы. Человек не знает, что такое он сам; где же ему знать, что такое Бог? Как же он смеет утверждать, что Бог не может сделать его способным к общению с Собой?“[341] „Христианство очень странно: оно велит человеку признавать себя гнусным и учит его уподобляться Богу... Как мало у христианина гордости, когда он соединяется с Богом, и как мало низости, когда он равняет себя с червем земли!“[342] „Я хвалю только тех, кто ищет, стеная. Надо устать до изнеможения в поисках истинного блага, чтобы протянуть, наконец, руки к Освободителю“. [343]

10

Кроме двух книг – „Опытов“ Монтеня и „Руководства“ Эпиктета – третья главная книга для Паскаля в Апологии – „Кинжал Веры“, испанского доминиканца Раймонда Мартини, где чудом уцелели от огня Инквизиции древнейшие памятники иудейской письменности[344] Паскаль ищет в них совпадения христианского предания со свидетельствами великих учителей Талмуда в том, что он называет „непрерывностью“ (rerpétuite) и что мы могли бы назвать единством религиозного опыта человечества в веках и народах, во всемирной истории.

„что бы ни говорили (неверующие) о христианстве, надо признать, что в нем есть нечто удивительное“. „Это вам кажется, потому что вы родились в христианстве“, – могут мне возразить. Нет, вовсе не потому, а наоборот: я противлюсь христианству, потому что в нем есть это удивительное... Люди, от начала мира, ожидали Мессию... и утверждали, что Бог им открыл, что родился Иискупитель... Это удивительно“. [345]

Исторические ошибки Паскаля слишком явны. «Летописи иудейского народа на несколько веков древнее, чем летописи остальных народов». «Весь этот великий и многочисленный народ произошел от одного человека» (Авраама). «Греки и римляне заимствовали свои законы от иудеев».[346] «Сим, видевший Адама, видел Ламеха, который видел Иакова, а Иаков видел тех, кто видел Моисея».[347] Такая «история» для нас уже немного стоит. Но все эти ошибки Паскаля несущественны, потому что сделаны в порядке Истории, а не Мистерии, – внешнего знания о мире, а не внутреннего знания о человеке – того, на чем зиждется вся Апология.

Судя по тому, что Паскаль ставит наравне с ветхозаветными пророчествами чудное сказание Платона о кормчем Тамузе, услышавшем таинственный крик: «Умер Великий Пан!» (что не пришло бы, конечно, и в голову никому из церковных апологетов), – он мог бы понять пророческий смысл и таинства Елевзиса, Египта, Вавилона, Крито-Эгей – всего, что мы называем «христианством до Христа», что, в самом деле, есть одно из удивительнейших чудес всемирной истории.

11

Огненное сердце «Мыслей» – та ночная беседа Паскаля с таинственным Гостем, которую он сам называет «Иисусовой Тайной». Главное жизненное действие сердца – посыпать во все, даже в мельчайшие сосуды тела кровь; так же действует и «Тайна» в «Мыслях»: в каждой из них слышится биение, в каждой льется кровь этого сердца.

Все начинается и кончается в «Мыслях» тем «сверхъестественным сном» человечества, которым спят ученики Иисуса в Гефсиманскую ночь. Главная цель Паскаля – разбудить, расколдовать людей от этого «заколдованных сна». «В смертном борении будет Иисус до конца мира: в это время не должно спать».[348]

В «Иисусовой Тайне», этом не внешнем, а внутреннем «видении», «явлении» Христа – совершается как бы Его «Второе Пришествие», или вечное «Присутствие» в мире:

И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Матфей, 28:20).

«Иисус – один на земле», – вспоминает Паскаль, может быть, не только о Гефсиманской ночи, но и о своей.

Если человек – один, Я с ним, – по «не записанному» в Евангелии слову Господню, «Аграфа».[349] «Иисус один» – наедине с Паскалем. В этой внутренней близости Человека к человеку чувствуется близость не только духа к духу, но и Тела к телу. Кажется, ученики Христа узнали бы в этой ночной беседе Паскаля голос Учителя.

Может быть, точно такие же «явления» – «Присутствия» бывали и у великих Святых в Церкви; но грешному человеку в мире это явление, кажется, первое, еще никогда не бывалое.

Люди, слышавшие сами или помнившие тех, кто слышал сам живой голос Иисуса, хранили в памяти и передавали друг другу, а иногда и записывали, до конца первого и начала второго века, подлинные, из уст Его услышанные, но в Евангелии «не записанные», слова Господни, Аграфа. Стоит только вслушаться в иные слова «Иисусовой Тайны», чтобы убедиться по нечеловеческому звуку их, что и эти слова – «Аграфы», и что они могли быть услышаны Паскалем только из уст самого Иисуса.

Или ты хочешь, чтобы Я за тебя лил Кровь Мою, когда ты за Меня и слезы не пролил?

Не бойся и молись за себя с таким же доверием, как за Меня.

Я больше твой друг, чем все твои друзья, потому что Я сделал для тебя больше, чем они, и потому что они за тебя не пострадали бы, как Я страдал, и не умерли бы, как умер Я, еще во дни твоей неверности и ожесточения.

Я тебя горячее люблю, чем ты любил некогда скверну твою.[350]

Кто не услышит и не узнает в этих словах Иисусова голоса, тот не узнает его и в Евангелии.

12

«Противоположное-согласное», – учит Гераклит. «Из противоположного возникает прекраснейшая гармония; из противоборства рождается все». Это значит: все рождается из противоборства и согласия двух Начал в Третьем – из божественной тайны Трех. «Бог есть день – ночь; зима – лето; война–мир; сътость – голод: все противоположности, enantia, в Боге».[351] Енантанизмом, «философией противоположностей», можно бы назвать всю мудрость Гераклита, и мудрость Паскаля также.

Главный религиозный метод его – «согласование противоположностей» (accorder les contraires).[352] Паскаль, вероятно, ничего не знал о Гераклите; тем удивительнее эти его совпадения с Гераклитом не только в мыслях, но и в словах.

«Два противоположных начала – с этого должно все начинать». «И даже в конце каждой высказанной истины должно прибавлять, что помнишь противоположную истину».[353] «Наше (человеческое) величие заключается не в том, что мы находимся в одной из двух (противоположных) крайностей, а в том, что мы находимся в них обеих вместе и наполняем все, что между ними. Но, может быть, душа соединяет эти крайности только в одной точке, как бы в раскаленном угле».[354] «Противоположные крайности соприкасаются и соединяются в Боге, и только в одном Боге». «Только в Иисусе Христе все противоречия согласованы».[355] «Вера объемлет многие, как будто противоречивые, истины... Две природы (Божественная и человеческая) соединяются в Иисусе Христе, а также два мира (создание нового неба и новой

земли)». [356]

«Он (Христос) есть мир наш, соделавший из двух одно и разрушивший стоявшую между ними преграду», – учит Павел (Ефесянам, 2:14), и тому же учит Паскаль. Весь религиозный опыт его достигает высшей точки в этом учении о двух Божественных Началах – Отце и Сыне, – соединяющихся в Третьем Начале – в Духе. Если так, то огненное сердце «Мыслей» – «Иисусова Тайна» – есть не что иное, как тайна Трех.

«Бесконечным расстоянием между телами и духами прообразуется расстояние еще бесконечно большее, между духом и любовью, потому что оно сверхъестественно... Эти три порядка (Тело, дух, любовь) различны по качеству». «Все тела – небо, звезды, земля и все царства земли – не стоят ни малейшего из духов, потому что он знает все это и знает себя, а тела ничего не знают. Все тела и все духи, вместе взятые, и все, что от них произошло, – не стоят ни малейшего движения любви, потому что это относится к порядку бесконечно высшему. Все тела и духи не могли бы произвести ни малейшего движения любви: это невозможно, потому что относится к иному, сверхъестественному порядку». [357]

Сам того не зная, Паскаль в этом учении о «трех Порядках» продолжает через пять веков дело, начатое Иоахимом Флорским, – учение о «трех состояниях мира» – «трех Царствах» – Отца, Сына и Духа.

«Три порядка» – в созерцании Паскаля, а в действии, в жизни – три чуда: Огонь, Терн, Кровь («каплю крови Моей Я пролил за тебя», – говорит ему Иисус в «Тайне»). Каждое из этих трех чудес было для него как бы физическим и метафизическим вместе осознанием прерыва между порядками – таким же убедительным опытом, как понижение ртутного столбика в стеклянной трубке при восхождении на высоты, и в то же время переходом из одного порядка в другой, из низшего – в высший. В первом чуде – Огня – совершился для Паскаля переход из первого порядка – вещества, плоти, – во второй порядок – духа; во втором чуде – Терна – переход из второго порядка – духа, в третий – Любви, где и совершается третье чудо – Крови.

13

«Я еще не все сказал; вы увидите...»[358] Это, вероятно, одна из последних, неконченных «Мыслей» Паскаля, одно из его последних недоговоренных слов. «Страх Земли» – так можно было определить то, почему он не сказал и не сделал всего, что мог бы сказать и сделать.

Господня земля и что наполняет ее (Псалтырь, 23:1), – этого Паскаль не говорит и не чувствует. Небо для него Господне, но не земля.

Слава Тебе, Господи, за Мать нашу, Землю, которая носит нас всех и питает, – этого он тоже не чувствует и не говорит, как св. Франциск Ассизский в «Песне тварей». «Сердцем узнанный Бог» для Паскаля не в человеке и в природе, а только в человеке. Он изучает, испытывает природу, но не любит ее, а боится: «Вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает». Ужас природы и есть для него тот ужас Бездны, который преследует его всю жизнь:

Была с Паскалем Бездна неразлучна.
Кажется иногда, что одержимый «страхом земли» он не знает и земных путей человечества – того, как движется оно во времени, в истории, от Первого Пришествия ко Второму, и что нет у него эсхатологии, потому что нет истории. Верит ли он в «Третий Порядок Любви» – Царство Божие – не только на небе, но и на земле? Если и верит, то вера эта не доходит до его сознания.

Страх Земли у Паскаля – в порядке космическом, а в человеческом – страх Плоти. Догмат Воскресения он утверждает. «Почему они (безбожники) говорят, что Воскресение невозможно? Что труднее – родиться или воскреснуть; быть впервые тому, чего никогда еще не было, или быть снова тому, что уже было однажды; труднее ли в бытии возникнуть или вернуться в бытие? Легким нам кажется первое только по привычке, а по недостатку привычки другое кажется нам невозможным: простонародный способ суждения». [359] Проще, яснее и убедительнее никто об этом не говорил. Но кажется иногда, что самому

Паскалю это ненужно, а если и нужно, то этого он не сознает, а только предчувствует. Кажется иногда, что для него то, что Иисус умер или даже всегда умирает («в смертном борении будет Иисус до конца мира», jusqu' à la fin du monde), нужнее и действительнее, чем то, что Он воскрес.

Страх Земли, страх Плоти – может быть, главная причина того, что Паскаль не соединяет двух вопросов, которые больше всего мучают его и для которых он больше всего сделал, – вопроса о Трех Порядках и вопроса о Церкви; главная причина того, что он умом ясно не понимает, а только сердцем смутно чувствует, что ответ на эти два вопроса найден будет лишь тогда, когда они соединятся, потому что Единая Вселенская Церковь может осуществиться только в «Третьем Порядке Любви» – в «Третьем Царстве духа».

Три Порядка в созерцании – три чуда в действии: вся жизнь Паскаля под знаком Трех. «Три в Одном – Отец, Сын и Дух Святой – есть начало всех чудес».[360] Этим исповеданием Данте в «Новой жизни» начинает свою жизнь; им же кончает ее в «Божественной комедии»:

Там, в глубине Субстанции Предвечной,
Явились мне три пламеневших круга
Одной величины и трех цветов.
О, вечный Свет, Себе единосущный,
Себя единого в Отце познавший,
Собой единственным познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный Собой единственным в Духе![361]

Тем же исповеданием мог бы кончить жизнь свою и Паскаль, и почти кончил. «Я еще не все сказал»: если бы сказал и сделал все, то понял бы, что разбудить, расколдовать человечество от «заколдованных снов» можно только этим всемогущим, из всех человеческих слов самым божественным, – Три.

14

Вышел ли Паскаль из католической Церкви или остался в ней? Спор об этом ведется вот уже триста лет и, вероятно, будет вестись всегда, потому что он неразрешим в той плоскости, где происходит, – в «двух низших порядках – плоти и духа»; он мог бы решиться только «в третьем, высшем порядке любви».

В 1665 году, два с половиной года по смерти Паскаля, архиепископ Парижский Гардуэн де Перефикс, тот самый, который хотел вырыть из могилы тело его, чтобы бросить в общую яму, – призвав о. Павла Берре, спросил его с грозным видом, правда ли, что он причастил такого отъявленного еретика-янсениста, как Паскаль? о. Павел оробел и смущился, но ответил по совести, что Паскаль, еще года за два до смерти, отрекся от янсенистской ереси и умер правоверным католиком. Архиепископ тотчас велел ему записать это показание и хотя обещал хранить его в тайне, но слова не сдержал и разгласил.

Лет через шесть о. Павел писал Жильберте Перье: «Слышал я, что вы огорчены тем, что люди злоупотребляют показанием о вашем брате, которое вынудил у меня покойный Парижский архиепископ... Я был тогда убежден, что верно понял слова, сказанные мне вашим братом... Но теперь вижу, что они могли иметь и, как я полагаю, действительно имели не тот смысл, какой я им придал... Я желал бы от всей души, чтобы это заявление никогда не было мною сделано потому, что оно, как мне теперь кажется, не соответствует истине и потому, что им злоупотребляют вопреки моей воле». И еще года через два – Этьену Перье: «Я никогда не говорил, что покойный господин Паскаль от чего-либо отрекся».[362]

Так падает главное и, в сущности, единственное свидетельство о том, что католики называют «отречением Паскаля от янсенистской ереси и его возвращением в лоно Римской Церкви».

Бедному о. Павлу тем труднее было понять, что думал Паскаль о Церкви, что, может быть, тот и сам это не всегда понимал. Ясно только одно: ни в протестантской, ни в католической Церкви Паскаль не вмещается; он между них как между двух огней. Ясно также, что в последние годы он отошел от «господ Пор-Руаяля». Как ни далек он от иезуитов – от янсенистов он еще дальше. Чтобы в этом убедиться, стоит только вспомнить тот уцелевший в «Мыслях» черновой набросок для «Писем»: «Больше всего следует исповедовать обе противоположные истины, в то время когда одна из них отрицается. Вот почему иезуиты так же не правы, как янсенисты; но все-таки эти еще более не правы, чем те, потому что иезуиты яснее исповедуют обе истины».[363]

«Иисус Христос – Испкупитель всех... Когда вы (янсенисты) говорите, что Он умер не за всех... вы доводите людей до отчаяния... вместо того, чтобы приводить их к надежде». [364] Так отрицает Паскаль одну из глубочайших основ всего протестантства, от Лютера и Кальвина до Янсения, – догмат об искуплении не всех, а только немногих, предопределенных, «избранных». Но если бы суд его над католической Церковью не был так суров, как над протестантской, то он не повторял бы за св. Бернардом Клервосским: «К Твоему суду взываю, Господи!»

15

«Три в одном. *Tres in unum*» (здесь Паскаль как будто уже предчувствует, что Вселенская Церковь осуществляется только под знаком Трех). «Три в Одном – единство и множественность: католики ошибаются, исключая множественность, а гугеноты (протестанты), исключая единство». «Если смотреть на Церковь как на единство, то глава ее, Папа, – все; но если смотреть на нее как на множественность (соборность), то Папа – только часть Церкви... Множественность, которая не сводится к единству, есть беспорядок, а единство, которое не зависит от множественности, есть произвол». [365]

Вот что говорит Паскаль о том, чему суждено было сделаться столпом Римской Церкви, – о папской непогрешимости: «Бог не творит чудес в обыкновенном водительстве Церкви. Странно было бы непогрешимость одного (Папы), но естественна – непогрешимость многих людей (Церкви), потому что водительство Божие скрыто в природе (и в человечестве) – как во всех делах Божиих». [366] Так не мог бы говорить Паскаль, если бы уже не стоял на пороге католической Церкви и не был готов из нее выйти.

«Молчание есть величайшее из всех гонений. Святые никогда не молчали... После того как Рим произнес приговор... должно тем сильнее кричать, чем приговор несправедливее и чем больше хотят заглушить крик, – пока не придет, наконец, Папа, который выслушает обе стороны... добрые Папы найдут вопиющую Церковь». [367] «О, неужели я никогда не увижу христианского Папу на престоле св. Петра!» – эти слова друга своего дома (*Domat*), единственного человека, который кое-что понимал в муке Паскаля о Церкви, мог бы и он повторить. [368]

«Кажется, обе Церкви (протестантская и католическая) правы, потому что в каждой из них – только половина истины», – говорит в книге «Восстановление Христианства», в главе «О любви», Михаил Сервет, «ересиарх», сожженный дважды, – Римскую Церковь, «в изображении (*in effigie*)», и в действительности, Кальвином. [369] «В каждой из двух Церквей – только половина истины», – это значит на языке Паскаля: «две противоположные истины», – та, что в Церкви католической, и та, что в Церкви протестантской, – соединяется в Церкви Вселенской – в «третьем порядке Любви».

Лучше всего можно понять, что сделал Паскаль для будущей Вселенской Церкви, сравнив его с Лютером и Кальвином. Слабость этих обоих в том, что они вышли из католической Церкви, не пройдя ее всю до конца и исповедуя только одну из «двух противоположных истин», «соборность», «множественность»; сила Паскаля в том, что он вышел из католической Церкви, пройдя ее всю до конца и соединив обе истины – множественность, соборность и единство.

Лютер и Кальвин были только на пороге Вселенской Церкви под знаком двух, а Паскаль в нее вошел, под знаком Трех.

Примечания

1

Pascal, Pensees, ed. Brunschwig, 233, «Fin de ce discours».

2

G. Michaut, Les époques de la pensée de Pascal, 1902, 219.

3

Pens., 421.

4

J. Chevalier, Pascal, 1922, 9 – 10.

5

Sainte-Beuve, Port-Royal, I, 279–281. Jansenius, Duvergier, 3–4.

6

H. Bremond, *Histoire Litteraire du sentiment religieux en France*, IV.
Sainte-Beuve, 291–294.

7

Sainte-Beuve, IV, 113–114.

8

Chevalier, 39.

9

Sainte-Beuve, I, 80.

10

Chevalier, 39. Sainte-Beuve, I, 287–294. G. Michaut, 229.

11

S. August, *Opus imperfectum contra Julianum*, I, 78–79. J. Tixeront,
Histoire du dogme, 1931, II, 428. Labriole, *Hist. De la litterat. lat.*
chret., 1920, 544. Coelest, *De gestis Pelag.*, 23. Pelag., *Expositiones*, ap.
S. Hieronym, *Epist.*, 133, I:186, XXXVII.

12

Sainte-Beuve, I, 119.

13

Sainte-Beuve, I, 175. La Fontaine, *Poemes et poesies diverses*, ed. Garnier,
292.

14

Bremond, 110–111.

15

Sainte-Beuve, II, 215.

16

Bremond, 155.

17

Sainte-Beuve, I, 163.

18

Sainte-Beuve, I, 134.

19

Pensees, 684. «Accorder les contraires».

20

E. Boutroux, Pascal, 1900, 85. Chevalier, 37. R. Fulop-Miller, Les Jesuites, trad. française, 1933, 127–133. Sainte-Beuve, I, 94–97.

21

Memoires pour servir a l'histoire de Port-Royal, Utrecht, 1742, I, 25.

22

Sainte-Beuve, I, 101–106.

23

Sainte-Beuve, I, 28–33.

24

Tres Socii, XX. S. Bonaventura, XVII. Celano, Vita S. Francisci, Paris, I, 6.

25

Michaut, 169.

26

Sainte-Beuve, I, 270. Fontaine, Memoires, II, 462.

27

Boutroux, 87–88.

28

Bremond, 187, 248, 78–79.

29

См. сноска выше.

30

См. СНОСКУ выше.

31

E. Renan, *Nouvelles etudes d'histoire religieuse*, 479–480.

32

H. P. Stewart, *La saintete de Pascal trad. francaise*, 1919, 142.

33

Lancelot, *Memoires touchant la vie de M. de Saint-Cyran*, 1738, II, 304. Bremond, 40.

34

Eckermann, *Gesprache mit Goethe*, II, 26 Februar, 2 März, 30 März 1831, 52–53.

35

P. Nicole, *Grace generale*, I, 208–211. Bremond, 436.

36

P. Nicole, *Pensees et Opuscules*, 551. Bremond, 437.

37

P. Nicole, *Essais de morale*, 1733, I, 167–168. Sainte-Beuve, II, 150.

38

Essais de morale, IV, 103–104.

39

Luther, *Tischreden*, ed. 1568, S. 220.

40

Doumergue, *Calvin*, IV, 377.

41

Pensees, 185.

42

Mem. pour servir a l'hist. du Port-Royal, Utrecht, 1742, II, 130–137. Sainte-Beuve, II, 79.

43

Sainte-Beuve, I, 135, 87.

44

См. сноска выше.

45

Pensees, 118, 300, 72, 303.

46

См. сноска выше.

47

См. сноска выше.

48

См. сноска выше.

49

Chevalier, 11, 38.

50

См. сноска выше.

51

V. Giraud, La vie heroique de Blaise Pascal, 1923, pp. 4–5.

52

Michaut, Les époques de la pensée de Pascal, 12–13.

53

V. Giraud, 2, 10.

54

Faugere, Mémoires de Marguerite Perier, 1845; 174, V. Cousin, Etudes sur Pascal, 1876, 329.

55

Pensees, 818.

56

F. Strowski, Pascal et son temps, 1907, II, 2. Boutroux, Pascal, 8.

57

L. Brunschwig, Pascal, Pensees et Opuscules: Discours sur les passions de l'amour, 124.

58

Brunschwigg, 11.

59

Brunschwigg, Vie de Pascal par M. Gilberte Perier, 4-6.

60

Inf., III, 37-39.

...quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli ne fur fedeli a Dio,
ma per se foro.

61

Giraud, vie heroique de Pascal, 27.

62

F. Mauriac, Blaise Pascal et sa soeur Jacqueline, 1931, p. 30.

63

Strowski, II, 45.

64

Mauriac, 42: «Dans les couvents on pratique des choses qui ne sont pas
capables de satisfaire un esprit raisonnable».

65

V. Cousin, Etudes sur Pascal, 110.

66

Mauriac, 20.

67

Mauriac, 21-23.

68

Cousin, 92. La duchesse d'Aiguillon. L'Amour tyrannique. Mauriac, 31-34.

69

Pensees, 458, 460.

70

Braunschwigg, 8.

71

Chevalier, Pascal, 1922, 54–56.

72

Strowski, II, 30–32.

73

Giraud, 29–30.

74

Braunschwig, 8–9.

75

Michaut, 33, 41–42.

76

См. сноска выше.

77

Faugeres, Mem. de Marg. Perier, 453. Michaut, 42.

78

Braunschwig, 56. «*Priere pour demander a Dieu le bon usage des maladies*», 61–62.

79

Faugere, Memoires de Marguerite Perier, 424–427. Giraud, 41–42.

80

Boutroux, Pascal, 21. Giraud, 39–40.

81

тогдашним

82

V. Cousin, Etudes sur Pascal, 348–388. Abbe Maynard, Pascal, sa vie et son caractere, I, 30–44. Giraud, 45–46.

83

Boutroux, 46–47. Michaut, 58–59.

84

Strowski, II, 183–184. Chevalier, 66–70.

85

Boutroux, 42–43. Strowski, II, 186–187. Chevalier, 71–72.

86

Brunsch., 173.

87

Michaut, 55–56.

88

Boutroux, 39. Strowski, II, 159–161.

89

Memoires pour servir a l'hist. de Port-Royal, 1742, Utrecht, I, 257.
Michaut 63.

90

Mauriac, 86–90.

91

Boutroux, 50. Girand, 65–66.

92

Brunsch., Lettre sur la mort de Pascal le pere, 101, 104, 105, 106.

93

G. Goyau, Saint-Bernard, 1927, 108, 166.

94

Brunsch., 105–106.

95

Faugere, Memoires de Marguerite Perier, 43. Michaut, 67.

96

Strowski, II, 283.

97

Pensees 131, 140, 139, 143, 144, 183.

98

См. сноска выше.

99

см. сноска выше.

100

см. сноска выше.

101

см. сноска выше.

102

см. сноска выше.

103

Sainte-Beuve, III, 302–303.

104

Brunsch., 515.

105

Faugere, Mem. de Marguer. Perier, 444.

106

Brunsch., 120.

107

Michaut, 79, La Muse Historique.

108

Strowski, I, 235–236. Michaut, 68.

109

Michaut, 94.

110

Brunsch., 11.

111

Giraud, 73, 739, 74.

112

см. сноска выше.

113

См. Сноска выше.

114

Chevalier, 90. Strowski, II, 264.

115

Chevalier de Mere, Oeuvres, 1692, II, 60–69. Michaut, 74–75.

116

Chevalier de Mere, Oeuvres, I, 253, Brunsch., 116–117.

117

Baudelaire, Fleurs du Mal, xv.

118

Pensees, 455.

119

Brunsch., 128, 131, 112.

120

См. Сноска выше.

121

См. Сноска выше.

122

Mauriac, 105, 116–117.

123

См. Сноска выше.

124

Brunsch., Discours sur les passions de l'amour, 127, 128, 142.

125

См. Сноска выше.

126

См. Сноска выше.

127

Giraud, 83.

128

Brunsch., 30.

129

Faugere, Mem. de Gilberte Perier, 62–63. Michaut, 66–67.

130

Giraud, 82. Brunsch., 137.

131

Faugere, 180. v. Giraud, Pascal, l'homme, l'oeuvre, l'influence, 1922, p. 55.

132

Mauriac, 107.

133

Mauriac, 114–115.

134

Michaut, 89–90.

135

Giraud, Pascal, l'homme, 56.

136

Mauriac, 102, 100–101.

137

см. сноска выше.

138

Giraud, La vie heroique de Pascal, 78.

139

Giraud, La vie heroique de Pascal, 83. Brunsch., 157.

140

v. Cousin, Etudes sur Pascal, 188–195. Faugere, Lettres de Jacqueline Pascal, 356. Giraud, 84–85.

141

Giraud, 86.

142

Memoires pour servir a l'histoire du Port-Royal, Utrecht, 258. Faugere, 238.

143

Michaut, 100, 101.

144

Abbe Boileau, Lettres sur divers sujets de morale et de piete, 1787, 1, 206.

145

Pensees, 206.

146

Brunsch., De l'esprit geometrique, 184.

147

Pensees, 72. Brunsch., 184.

148

Baudelaire, Fleurs du Mal, CXV. Le gouffre (Пропасть).

Паскаль носил в душе водоворот без дна.
Все пропасть алчная: слова, мечты, желания.
Мне тайну ужаса открыла тишина,
И холодаю я от черного сознания.
Вверху, внизу, везде – бездонность, глубина.
Пространство страшное с отравою молчанья.
Во тьме моих ночей встает уродство сна
Многообразного – кошмар без окончанья.
Мне чудится, что ночь – зияющий провал.
И кто в нее вступил, тот схвачен темнотою.
Сквозь каждое окно – бездонность предо мною.
Мой дух с отрадой бы в ничтожестве пропал,
Чтоб тьмой беспчувствия закрыть свои терзанья.
Но никогда не быть вне чисел вне сомненья.

1899

(Перев. К. Д. Бальмонта)

149

Boutroux, 79–80. Michaut, 111–115. Faugere, 358.

150

Strowski, II, 255–256.

151

Brunsch., 142–143. Bremond, 368. Autotypies.

152

Boutroux, 84–90.

153

Giraud, 102.

154

Brunsch., 185–186.

155

Faugere, 353. Michaut, 116–118.

156

Pensees, 64.

157

Brunsch., Entretien de Pascal avec M. de Saci, 148–149, 150, 155, 157–159, 161.

158

Sainte-Beuve, Port-Royal, III, 29–30.

159

Pascal, Lettres ecrites a un Provincial, ed., Garnier, 31.

160

Pascal, Lettres, III.

161

Sainte-Beuve, III, 85–91.

162

Strowski, III, 61.

163

см. сноска выше.

164

Lettres, ed. Garnier, l. I, p. 6.

165

Lettres, ed. Garnier, 1. II, p. 17-22.

166

Lettres, ed. Garnier, 1, VIII, p. 1, 10, 319.

167

См. сноска выше.

168

Boutroux, 118.

169

Giraud, 124.

170

Lettres, I, XI, p. 169-170.

171

Boutroux, 122. Lettres, 1. VIII.

172

Lettres, 1. XI, p. 174.

173

Chevalier, 144-145.

174

Lettres, 1.V, p. 57-58.

175

Samuel Sa, Aphorismi Confessoriorum, 1618, 190.

176

Lettres, 1. VII, p. 94.

177

Strowski, III, 92.

178

Lettres, 1. VI, p. 75-76.

179

180

Lettres, 1. XVI, p. 257.

181

Lettres, 1. X, p. 166–167; 1. XVI, p. 257–258.

182

Brunsch., 207–208. Michaut, 131–135. Strowski, III, 133–134.

183

Memoires pour servir a l'histoire du Port-Royal, Utrecht, 300–301.

184

Pensees, 841.

185

Lettres, 1. XVI, 310–311.

186

Pensees, 811–813.

187

Mauriac, 175.

188

Pensees, 283.

189

Pascal, Oeuvres completes, ed. Hachette, III, 51–94. Stewart, La saintete de Pascal, 13.

190

Memoires, Utrecht, 279.

191

Sainte-Beuve, III, 130–135.

192

Giraud, 143.

193

Stewart, 82.

194

Pensees, 865, 684.

195

См. СНОСКУ выше.

196

Brunsch., 208. Boutroux, 130–141.

197

Giraud, 158, 256.

198

Brunsch., 24.

199

Faugere, 157. Michaut, 144.

200

Montucla, *Histoire des mathematiques*, 1796, II, 52.

201

Giraud, 164–165.

202

Brunsch., 229.

203

Lettres, 1. XVIII, p. 377.

204

Boutroux, 137.

205

Lettres, 1. XIX, p. 381–382.

206

Giraud, 171–172.

207

Brunsch., 239–240.

208

Giraud, 173.

209

Chevalier, 363.

210

Lettres, 1. X, p. 167; 1. XIX, p. 263.

211

H. Bermond, Hist. Litter. du sentiment religieux en France, IV. La Conquete mystique, 1938, 151.

212

Brunsch., Ecrit sur la signature, 241–243.

213

Lettres, Fragment d'une XIX 1, adressee au Pere Annat, 381–382.

214

Boutroux, 173.

215

Faugere, 88, 164. Brunsch., 243.

216

Pensees, 552. Le Mystere de Jesus.

217

Pensees, 737, 780, 921, 868, 920.

218

См. сноска выше.

219

См. сноска выше.

220

См. сноска выше.

221

См. сноска выше.

222

Brunsch., 218.

223

Boutroux, 151.

224

Spinoza, Tract, theol.-polit., ed. Saisset, I, 62.

225

Voltaire, Dernieres Remarques sur les Pensees de Pascal. Giraud, Pascal, l'Homme, 266.

226

Giraud, 223.

227

Brunsch., 37, 25, 30–31, 28.

228

См. сноска выше.

229

См. сноска выше.

230

Pensees, 471.

231

Brunsch., 31.

232

Pensees, 479, 476.

233

Giraud, La vie heroique de Pascal, 189.

234

Moliere, Tartuffe, Acte I, Scene V.

235

Brunsch., 30.

236

Pensees, 550, 483, 793.

237

См. СНОСКУ выше.

238

См. СНОСКУ выше.

239

Joh. Joergens, Saint Francois d'Assise, trad. du danois, 1912, p. 106.

240

Pensees, 550. Brunsch., 26–27.

241

Brunsch., 29.

242

Pensees, 550, 552.

243

Brunsch., 34. E. Jovy, L'Almanach spirituel de Pascal, 1923, 1–7.

244

Pensees, 233, 271.

245

См. СНОСКУ выше.

246

Brunsch., 35–36.

247

См. СНОСКУ выше.

248

Sainte-Beuve, Oeuvres completes, 1873, 1, 4–5.

249

Pensees, 211. Brunsch., 37–39.

250

Moliere, Monsieur de Porceaugnac, Acte III, Scene IV.

251

Brunsch., 39, 39–40.

252

См. сноска выше.

253

Aug. Gazier, Les derniers jours de Blaise Pascal, 1911. Masque mortuaire de Pascal. Michaut, Les époques de la pensée de Pascal, 1902, p. 144.

254

Brunsch, 18, 256.

255

Giraud, La vie héroïque de Pascal, 115.

256

Henry Massis, Blaise Pascal, Pensées, ed. Grasset, 52.

257

Massis, 59–60.

258

Sainte-Beuve, Port-Royal, IV, 599. Michaut, Les époques de la pensée de Pascal, 136.

259

Sainte-Beuve, II, 136. Massis, 51.

260

Pensées, 167, 168, 147.

261

См. сноска выше.

262

См. сноска выше.

263

Massis, 61.

264

Giraud, Pascal, *L'Homme*, 65. Strowski, II, 197.

265

Massis, 9. Get effrayant genie, Pascal (Chateaubriand).

266

Giraud, 170, 162.

267

См. СНОСКУ выше.

268

Pensees, 136, 130.

269

См. СНОСКУ выше.

270

Michaut, 143.

271

Abbe Saint-Pierre, *Ouvrages de Morale et de Politique*, XII, 86.
Sainte-Beuve, II, 142.

272

F. Mauriac, *Blaise Pascal et sa soeur, Jacqueline*, 245.

273

Pascal, Pensees, ed. Garnier, VII.

274

Aug. Gazier, *Les derniers jours de Blaise Pascal*, 1911, 25. L'archeveque Hardouin de Perefixe.

275

Sainte-Beuve, I, 328.

276

Sainte-Beuve, II, 16.

277

Pensees, 292.

278

Тютчев.

279

Brunsch., 233. Massis, 58.

280

Pensees, 306, «Beaute d'omission».

281

Pensees, 229, 164, 211.

282

Pensees, 76.

283

Giraud, La vie heroique de Pascal, 220, 224.

284

Pensees, 72.

285

Massis, 52.

286

Brunschwig, Oeuvres de Pascal, grande edition.

287

Pensees, 71, 70, 45.

288

См. сноска выше.

289

Faugere, Lettres, Opuscules et Memoires, 353, 471. Michaut, 150, 152.

290

Massis, 60.

291

Mauric, 251.

292

Pensees, 81, 122, 128, 129, 117, 129, 128, 265.

293

См. СНОСКУ выше.

294

См. СНОСКУ выше.

295

См. СНОСКУ выше.

296

См. СНОСКУ выше.

297

См. СНОСКУ выше.

298

См. СНОСКУ выше.

299

См. СНОСКУ выше.

300

Filleau de la Chaise, Discours sur les Pensees de Pascal; Strowski, III, 301.

301

Pensees, 193–195, 150–152.

302

См. СНОСКУ выше.

303

См. СНОСКУ выше.

304

См. СНОСКУ выше.

305

См. СНОСКУ выше.

306

См. СНОСКУ выше.

307

См. СНОСКУ выше.

308

См. СНОСКУ выше.

309

Boutroux, 170.

310

Pensees, 153.

311

Brunschwig, *Trois discours sur la condition des grands* 232, 235, 238.

312

Pensees, 81, 116, 88, 175, 191, 176, 167, 163–164, 176, 187, 181, 114, 178, 190.

313

См. СНОСКУ выше.

314

См. СНОСКУ выше.

315

См. СНОСКУ выше.

316

См. СНОСКУ выше.

317

См. СНОСКУ выше.

318

См. СНОСКУ выше.

319

См. СНОСКУ выше.

320

См. Сноска выше.

321

См. Сноска выше.

322

См. Сноска выше.

323

См. Сноска выше.

324

См. Сноска выше.

325

См. Сноска выше.

326

См. Сноска выше.

327

Brunschwigg, Lettres à Mlle de Roannez, 214, 215.

328

Pensees, 224, 223, 230, 146.

329

См. Сноска выше.

330

См. Сноска выше.

331

См. Сноска выше.

332

Steward, La saintete de Pascal, 169.

333

Unamuno, L'agonie du christianisme, 1926, p. 116. Si quis dixerit Dei existentiam naturali rationis humanae lumine certo cognosci non posse,

334

Pensees, 145.

335

Brunsch., De l'esprit geometrique, 185.

336

Pensees, 229: «La verite hors de la charite... est le mensonge».

337

Pensees, 171, 145.

338

См. сноска выше.

339

Giraud, Pascal, l'Homme, 157.

340

Pensees, 144, 182, 210, 177.

341

См. сноска выше.

342

См. сноска выше.

343

См. сноска выше.

344

Strowski, III, 259–266.

345

Pensees, 239, 240.

346

См. сноска выше.

347

Giraud, La vie heroique de Pascal, 214.

348

Pensees, 214. Le Mystere de Jesus: «Jesus sera en agonie jusqu'a la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-la».

349

Grenfeld and Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, ed Egypt-Exploration Fund, 1897, p. 8 et ss.

350

Pensees, 216–218.

351

Heracл, Peri physeos, fragm 8, 67.

352

Pensees, 261, 225, 165, 83, 261, 325, 303, 336, 129.

353

См. СНОСКУ выше.

354

См. СНОСКУ выше.

355

См. СНОСКУ выше.

356

См. СНОСКУ выше.

357

См. СНОСКУ выше.

358

См. СНОСКУ выше.

359

См. СНОСКУ выше.

360

Dante, La Vita Nuova, XXIX, 3 «...lo fattore de li miracoli e tre, cioe Padre e Figlio e Spirito Santo».

361

Parad, XXXIII, 115–126.

362

Em. Jovy, Pascal Inedit, 1908, II, 403–508. Ang Cazier, Les derniers jours de Pascal, 1911, 42–44.

363

Pensees, 326, 300, 327–328, 328, 335.

364

См. сноска выше.

365

См. сноска выше.

366

См. сноска выше.

367

См. сноска выше.

368

Sainte-Beuve, I, 280.

369

Mich. Servetus, Christianismi Restitutio, c. IV, «De Charitate»: «Nec cum istis in omnibus consentio aut dissentio. Omnes mihi videntur habere partem veritatis et partem erroris».

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!